

Особый характер носит индивидуалистическое *самопереживание*. Это не есть «я-переживание» в собственном смысле слова, выше нами определенном. Индивидуалистическое переживание вполне дифференцировано и оформлено. Индивидуализм есть особая идеологическая форма «мы-переживания» буржуазного класса (имеется аналогичный тип индивидуалистического самопереживания феодально-аристократического класса). Индивидуалистический тип переживания определяется прочной и уверенной социальной ориентацией. Не изнутри, не из глубин личности почерпается индивидуалистическая уверенность в себе, ощущение своей самоценности, а извне: это — идеологическое истолкование моей социальной признанности и защищенности в праве и объективной упроченности и защищенности всем политическим строем моей индивидуальной хозяйственной деятельности. Структура сознательной индивидуальной личности — такая же социальная структура, как и коллективистический тип переживания: это — определенное идеологическое истолкование сложной и устойчивой социально-экономической ситуации, проецированное в индивидуальную душу. Но в этом типе индивидуалистического «мы-переживания» заложено, как и в соответствующем ему строе, внутреннее противоречие, которое рано или поздно разобьет его идеологическую оформленность.

Аналогическую структуру представляет тип одинокого самопереживания («уменье и сила быть одиноким в своей правоте», как культивирует этот тип Ромен Роллан, отчасти и Толстой). Гордость этого одиночества также опирается на «мы». Это — характерная разновидность «мы-переживания» современной западно-европейской интеллигенции. Слова Толстого о том, что существует мышление для себя и мышление для публики — сопоставляют лишь две концепции публики. Это толстовское «для себя» на самом деле означает только другую, ему свойственную, социальную концепцию слушателя. Мышление вне установки на возможное выражение и, следовательно, вне социальной ориентированности этого выражения и самого мышления — не существует.

Таким образом, говорящая личность, взятая, так сказать, изнутри, оказывается всецело продуктом социальных взаимоотношений. Не только внешнее выражение, но и внутреннее переживание ее является социальной территорией. Следовательно, и весь путь, лежащий между внутренним переживанием («выражаемым») и его внешней объективацией («высказыванием»), — весь пролегает по социальной территории. Когда же переживание актуализуется в законченном высказывании, его социальная ориентированность осложняется установкой на ближайшую социальную ситуацию говорения и, прежде всего, на конкретных собеседников.

ПРОБЛЕМА ЖИЗНЕННОЙ  
ИДЕОЛОГИИ

Сказанное нами проливает новый свет  
и разобранную нами проблему сознания  
идеологии

*Вне объективации, вне воплощения в определенном материале (материале жеста, внутреннего слова, крика) сознание — фикция. Это*

— плохая идеологическая конструкция, созданная путем абстракции от конкретных фактов социального выражения. Но сознание как организованное материальное выражение (в идеологическом материале слова, знака, чертежа, красок, музыкального звука и пр.), сознание — объективный факт и громадная социальная сила. Правда, это сознание не над бытием и не может определять бытия конститутивно, но оно само есть часть бытия, одна из сил его, и поэтому обладает действительностью, играет роль на арене бытия. Пока сознание остается в голове сознающего как внутрисловесный эмбрион выражения, — это еще слишком маленький клочок бытия, слишком невелик еще район его действия. Но когда оно пройдет все стадии социальной объективации и войдет в силовую систему науки, искусства, морали, права, — оно становится действительной силой и способно оказывать даже и обратное влияние на экономические основы общественной жизни. Конечно, эта сила сознания воплощена в определенных социальных организациях, закреплена в устойчивые идеологические выражения (наука, искусство и пр.), но из первоначальной смутной форме мелькнувшей мысли и переживания оно уже было маленьким социальным событием, а не индивидуальным внутренним актом.

«Переживание с самого начала установлено на вполне актуализованное внешнее выражение, тендирует к нему. Это выражение переживания может быть осуществлено, а может быть и задержано, заторможено. В этом последнем случае переживание является заторможенным выражением (весьма сложного вопроса о причинах и условиях торможения мы здесь не касаемся). Осуществленное выражение, в свою очередь, оказывает могущественное обратное влияние на переживание: оно начинает связывать внутреннюю жизнь, давая ей более определенное и устойчивое выражение.

Это обратное влияние оформленного и устойчивого выражения на переживание (т.е. внутреннее выражение) имеет громадное значение и всегда должно учитываться. Можно сказать, что *не столько выражение приспособляется к нашему внутреннему миру, сколько наш внутренний мир приспособляется к возможностям нашего выражения* и его возможным путям и направлениям.

Всю совокупность жизненных переживаний и непосредственно связанных с ними внешних выражений мы назовем в отличие от сложившихся идеологических систем — искусства, морали, права — *жизненной идеологией*. Жизненная идеология — стихия неупорядоченной и незафиксированной внутренней и внешней речи, осмысливающей каждый наш поступок, действие и каждое наше «сознательное» состояние. Принимая во внимание социологичность структуры выражения и переживания, мы можем сказать, что жизненная идеология в нашем понимании в основном соответствует тому, что в марксистской литературе обозначается как «общественная психология». В данном контексте мы предпочитаем избегать слова «психология», так как нам важно исключительно содержание психики и сознания, а оно сплошь идеологично, оно определяется не

индивидуально-органическими (биологическими, физиологическими), а чисто социологическими факторами. Индивидуально-органический фактор совершенно несущественен для понимания основных творческих и живых линий содержания сознания.

Сложившиеся идеологические системы общественной морали, науки, искусства и религии выкристаллизовываются из жизненной идеологии и в свою очередь оказывают на нее сильное обратное влияние и, нормально, задают тон этой жизненной идеологии. Но в то же время эти сложившиеся идеологические продукты все время сохраняют самую живую органическую связь с жизненной идеологией, питаются ее соками и вне ее — мертвы, как мертвы, например, законченное литературное произведение или познавательная идея вне их живого оценивающего восприятия. Но ведь это восприятие, для которого только и существует какое бы то ни было идеологическое произведение, совершается на языке жизненной идеологии. Жизненная идеология вовлекает произведение в данную социальную ситуацию. Произведение связывается со всем содержанием сознания воспринимающих и апперцепируется только в контексте этого современного сознания. Произведение интерпретируется в духе данного содержания сознания (сознания воспринимающего), освещается им по-новому. В этом — жизнь идеологического произведения. В каждую эпоху своего исторического существования произведение должно вступить в тесную связь с меняющейся жизненной идеологией, проникнуться ею, пропитаться новыми, идущими из нее соками. Лишь в той степени, в какой произведение способно вступить в такую неразрывную, органическую связь с жизненной идеологией данной эпохи, оно способно быть живым в данную эпоху (конечно, в данной социальной группе). Вне этой связи оно перестает существовать, ибо перестает переживаться как идеологически значимое.

В жизненной идеологии мы должны различать несколько пластов. Эти пласты определяются тем социальным масштабом, каким измеряется переживание и выражение, теми социальными силами, по отношению к которым им приходится непосредственно ориентироваться.

Кругозор, в котором осуществляется данное переживание или выражение, может быть, как мы уже знаем, более или менее широким. Мирок переживания может быть узким и темным, социальная ориентация переживания может быть случайной и мгновенной, характерной только для данной случайной и непрочной группировки нескольких лиц. Конечно, и такие капризные переживания идеологичны и социологичны, но они уже лежат на границах нормального и патологического. Такое случайное переживание остается изолированным в душевной жизни данного лица. Оно не будет способно упрочиться и найти дифференцированное и законченное выражение: ведь если оно лишено социально-обоснованной и прочной аудитории, то откуда же возьмутся основы для его дифференциации и завершения? Еще менее возможно закрепление такого случайного переживания (письменное и тем более печатное). Никаких шансов

на дальнейшую социальную силу и действенность у такого, рожденного минутной и случайной ситуацией переживания, конечно, нет.

Такие переживания составляют самый нижний, текущий и быстро изменчивый пласт жизненной идеологии. К этому пласту относятся, следовательно, все те смутные, недоразвитые, мелькающие в нашей душе переживания, мысли и случайные, праздные слова. Все это — неспособные к жизни недоноски социальной ориентации, романы без героя и выступления без аудитории. Они лишены какой бы то ни было логики и единства. Нащупать в этих идеологических обрывках социологическую закономерность чрезвычайно трудно. В нижнем пласте жизненной идеологии возможно уловить только статистическую закономерность; только на большой массе продуктов этого рода обнаруживаются основные линии социально-экономической закономерности. Конечно, практически вскрыть социально-экономические предпосылки отдельного случайного переживания или выражения невозможно.

Другие, высшие пласты жизненной идеологии, непосредственно прилегающие к идеологическим системам, существеннее, ответственнее и носят творческий характер. Они гораздо подвижнее и нервнее сложившейся идеологии; они быстрее и резче способны передавать изменения социально-экономической основы. Здесь именно и накапливаются те творческие энергии, с помощью которых происходят частичные или радикальные перестройки идеологических систем. Выступающие новые социальные силы находят сначала свое идеологическое выражение и оформление в этих высших пластах жизненной идеологии, прежде чем им удастся завоевать арену организованной официальной идеологии. Конечно, в процессе борьбы, в процессе постепенного просачивания в идеологические организации (в прессу, в литературу, в науку) эти новые течения жизненной идеологии, как бы они ни были революционны, подвергаются влиянию сложившихся идеологических систем, частично усваивают накопленные формы, идеологические навыки и подходы.

То, что обычно называется «творческой индивидуальностью», является выражением основной твердой и постоянной линии социальной ориентации данного человека. Сюда относятся прежде всего верхние, наиболее оформленные пласты внутренней речи (жизненная идеология), каждый образ; каждая интонация которой проходили через стадию выражения, как бы выдержали испытание выражением. Сюда входят, таким образом, слова, интонации и внутрисловесные жесты, проделавшие опыт внешнего выражения в более или менее широком социальном масштабе, как бы социально хорошо пообтершиеся, отшлифованные реакциями и репликами, отпором или поддержкой социальной аудитории.

В нижних пластах жизненной идеологии, конечно, био-биографический фактор играет существенную роль, но по мере внедрения высказывания в идеологическую систему его значение все более и более понижается. Если, следовательно, в нижних пластах переживания и выражения (высказывания) био-биографические объяснения могут кое-что дать, то

в верхних пластах роль этих объяснений крайне скромна. Объективный социологический метод является здесь полным господином.

### ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК ОСНОВА РЕЧЕВОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Итак, теория выражения, лежащая в основе индивидуалистического субъективизма должна быть нами отвергнута\*

*Организирующий центр всякого высказывания, всякого выражения — не внутри, а во-вне: в социальной среде, окружающей особь.* Только нечленораздельный животный крик, действительно, организован изнутри физиологического аппарата единичной особи. В нем нет никакого идеологического плюса по отношению к физиологической реакции. Но уже самое примитивное человеческое высказывание, осуществленное единичным организмом, с точки зрения своего содержания, своего смысла и значения, организовано вне его, — во внеорганических условиях социальной среды. Высказывание как такое всецело продукт социального взаимодействия, как ближайшего, определяемого ситуацией говорения, так и дальнейшего, определяемого всей совокупностью условий данного говорящего коллектива.

Единичное высказывание (*parole*), вопреки учению абстрактного субъективизма, вовсе не индивидуальный факт, в своей индивидуальности не поддающийся социологическому анализу. Ведь если бы это было так, то ни сумма этих индивидуальных актов, ни какие-нибудь общие всем этим индивидуальным актам абстрактные моменты их («нормативно-тождественные формы») не могли бы породить никакого социального продукта.

Индивидуалистический субъективизм *прав* в том, что единичные высказывания являются действительно конкретной реальностью языка и что им принадлежит творческое значение в языке.

Но индивидуалистический субъективизм *не прав* в том, что он игнорирует и не понимает социальной природы высказывания и пытается вывести его из внутреннего мира говорящего как выражение этого внутреннего мира. Структура высказывания и самого выражаемого переживания — *социальная* структура. Стилистическое оформление высказывания — социальное оформление и самый речевой поток высказываний, к которому действительно сводится реальность языка, является социальным потоком. Каждая капля в нем социальна, социальна и вся динамика его становления.

Совершенно *прав* индивидуалистический субъективизм в том, что нельзя разрывать языковую форму и ее идеологическое наполнение. Всякое слово — идеологично и всякое применение языка — связано с идеологическим изменением. Но *не прав* индивидуалистический субъективизм в том, что это идеологическое наполнение слова он также выводит из условий индивидуальной психики.

*Не прав* индивидуалистический субъективизм и в том, что он, как и абстрактный объективизм, в основном исходит из монологического высказывания. Правда, некоторые фоссерианцы начинают подходить к проблеме диалога и, следовательно, к более правильному пониманию ре-

чевого взаимодействия. В этом отношении в высшей степени характерна уже названная нами книга Leo Spitzer'a «Italienische Umgangssprache», где делаются попытки анализа форм итальянской разговорной речи в тесной связи с условиями говорения и прежде всего — с постановкой собеседника<sup>51</sup>. Однако метод Лео Шпитцера *описательно-психологический*. Соответствующих принципиально социологических выводов Лео Шпитцер из своего анализа не делает. Основной реальностью для фосслерянцев остается, таким образом, монологическое высказывание.

Проблему речевого взаимодействия с большою отчетливостью ставил Отто Дитрих<sup>52</sup>. Он исходит из критики теории высказывания как выражения. Основной функцией языка является для него не выражение, а *сообщение*. Это приводит его к учету роли слушателя. Минимальным условием языкового явления, по Дитриху, являются *двое* (говорящий и слушатель). Однако, общепсихологические предпосылки Дитриха общи у него с индивидуалистическим субъективизмом. Исследования Дитриха лишены также определенного социологического базиса.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
РЕАЛЬНОЙ ДАННОСТИ ЯЗЫКА

Теперь мы можем дать ответ на вопро-  
поставленные нами в начале первой  
главы этой части *Действительной ре-*

*альностью языка-речи является не абстрактная система языковых форм и не изолированное монологическое высказывание и не психофизиологический акт его осуществления, а социальное событие речевого взаимодействия, осуществляемое высказыванием и высказываниями,*

Речевое взаимодействие является, таким образом, основною реальностью языка.

Диалог, в узком смысле этого слова, является, конечно, лишь одной из форм, правда — важнейшей, речевого взаимодействия. Но можно понимать диалог широко, понимая под ним не только непосредственное громкое речевое общение людей лицом к лицу, а всякое речевое общение, какого бы типа оно ни было. Книга, т.е. *печатное речевое выступление*, также является элементом речевого общения. Оно обсуждается в непосредственном и живом диалоге, но помимо этого, оно установлено на активное, связанное с проработкой и внутренним реплицированием, восприятие и на организованную печатную же реакцию в тех разнообразных формах, какие выработаны в данной сфере речевого общения (рецензии, критические рефераты, определяющее влияние на последующие работы и пр.). Далее, такое речевое выступление неизбежно ориен-

<sup>51</sup> В этом отношении характерно само построение книги. Книга распадается на четыре главы. Вот их заглавия: I. Eröffnungsformen des Gesprächs. II. Sprecher und Hörer; A. Höflichkeit (Rücbicht auf den Partner); B. Sparsamkeit und Verschwendung im Ausdruck; C. Ineinandergreifen von Rede und Gegenrede. III. Sprecher und Situation. IV. Die Abschluss des Gesprächs. Предшественником Шпитцера в исследовании разговорного языка в условиях реального говорения был *Hermann Wunderlich*. См. его книгу: «Unser Umgangssprache» (1894г.).

<sup>52</sup> См. Die Problemen der Sprachpsychologie (1914).

тируется на предшествующие выступления в той же сфере как самого автора, так и других, исходит из определенного положения научной проблемы или художественного стиля. Таким образом, печатное речевое выступление как бы вступает в идеологическую беседу большого масштаба: на что-то отвечает, что-то опровергает, что-то подтверждает, предвосхищает возможные ответы и опровержения, ищет поддержки и пр.

Всякое высказывание, как бы оно ни было значительно и закончено само по себе, *является лишь моментом непрерывного речевого общения* (жизненного, литературного, познавательного, политического). Но это непрерывное речевое общение само, в свою очередь, является лишь моментом непрерывного всестороннего становления данного социального коллектива. Отсюда возникает важная проблема: изучение связи конкретного взаимодействия с внесловесной ситуацией, ближайшей, а через нее и более широкой. Формы этой связи различны, а в связи с той или иной формой различные моменты ситуации получают различное значение (так, различны эти связи с различными моментами ситуаций в художественном общении или общении научном). *Никогда речевое общение не сможет быть понято и объяснено вне этой связи с конкретной ситуацией.* Словесное общение неразрывно сплетено с общениями иных типов, вырастая на общей с ними почве производственного общения. Оторвать слово от этого вечно становящегося, единого общения, конечно, нельзя. В этой своей конкретной связи с ситуацией речевое общение всегда сопровождается социальными актами неречевого характера (трудовыми актами, символическими актами ритуала, церемонии и пр.), являясь часто только их дополнением и неся лишь служебную роль. *Язык живет и исторически становится именно здесь, в конкретном речевом общении, а не в абстрактной лингвистической системе форм языка и не в индивидуальной психике говорящих.*

Отсюда следует, что методологически обоснованный порядок изучения языка должен быть таков: 1) формы и типы речевого взаимодействия в связи с конкретными условиями его; 2) формы отдельных высказываний, отдельных речевых выступлений в тесной связи со взаимодействием, элементами которого они являются, т.е. определяемые речевым взаимодействием, жанры речевых выступлений в жизни и в идеологическом творчестве; 3) исходя отсюда, пересмотр форм языка в их обычной лингвистической трактовке.

В таком порядке протекает и реальное становление языка: *становится социальное общение* (на основе базиса), *в нем становится речевое общение и взаимодействие, в этом последнем становятся формы речевых выступлений, и это становление, наконец, отражается в изменении форм языка.*

**ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК ЦЕЛОЕ  
И Ш> ФОРМЫ**

Из всего сказанного вытекает чрезвычайная важность проблемы форм высказывания как целого. Мы уже указывали, что современная лингвистика лишена подхода к самому высказыванию. Дальше элементов

его анализ ее не идет. Между тем, реальными единицами потока языка-речи являются высказывания. Но именно для того, чтобы изучить формы этой реальной единицы, ее нельзя изолировать из исторического потока высказываний. Как целое, высказывание осуществляется только в потоке речевого общения. Ведь целое определяется его границами, а границы проходят по линии соприкосновения данного высказывания с внесловесной и со словесной средой (т.е. с другими высказываниями).

Первое слово и последнее слово, начало и конец жизненного высказывания, — вот уже проблема целого. Процесс речи, понятый широко как процесс внешней и внутренней речевой жизни, вообще непрерывен, он не знает ни начала, ни конца. Внешнее актуализированное высказывание — остров, поднимающийся из безбрежного океана внутренней речи; размеры и формы этого острова определяются данной *ситуацией* высказывания и его *аудиторией*. Ситуация и аудитория заставляют внутреннюю речь актуализоваться в определенное внешнее выражение, которое непосредственно включено в невысказанный жизненный контекст, восполняется в нем действием, поступком или словесным ответом других участников высказывания. Законченный вопрос, восклицание, приказание, просьба — вот типичнейшие целые жизненных высказываний. Все они (особенно такие, как приказание, просьба) требуют внесловесного дополнения, да и внесловесного начала. Самый тип завершения этих маленьких жизненных *жанров* определяется трением слова о внесловесную среду и трением слова о чужое слово (других людей). Так, форма приказания определяется теми препятствиями, которые оно может встретить, степенью повиновения и пр. Жанровое завершение здесь отвечает случайным и неповторимым особенностям жизненных ситуаций. Об определенных типах жанровых завершений в жизненной речи можно говорить лишь там, где имеют место хоть сколько-нибудь устойчивые, закрепленные бытом и обстоятельствами формы жизненного общения. Так, совершенно особый тип жанрового завершения выработан в легкой и ни к чему не обязывающей салонной болтовне, где все — свои и где основная дифференциация собравшихся (аудитория): мужчины и женщины. Здесь вырабатываются особые формы слова-намёка, недосказанности, реминисценций маленьких и заведомо несерьезных рассказов и пр. Другой тип завершения вырабатывается в беседе мужа и жены, брата и сестры. Совершенно иначе начинают, кончают и строят заявления и реплики случайно собравшиеся разнородные люди где-нибудь в очереди, в каком-нибудь учреждении и пр. Свои типы знают деревенские посиделки, городские гулянки, каляканье рабочих в обеденный перерыв и пр. Каждая устойчивая бытовая ситуация обладает определенной организацией аудитории и, следовательно, определенным репертуаром маленьких житейских жанров. Всюду житейский жанр укладывается в отведенное ему русло социального общения, являясь идеологическим отражением его типа, структуры, цели и социального состава. Житейский жанр — часть социальной среды: праздника, досуга, общения в гостиной, в мастерской и

пр. Он соприкасается с этой средой, ограничивается ею и определяется ею во всех своих внутренних моментах.

Иные формы построения высказываний знают производственные процессы труда и процессы делового общения.

Это же касается до форм идеологического общения в точном смысле этого слова: форм политических выступлений, политических актов, законов, формул, деклараций и пр. и пр., форм поэтических высказываний, научных трактатов и т.д., — то эти формы подвергались специальным исследованиям в риторике и поэтике, но, как мы уже сказали, эти исследования совершенно оторваны от проблемы языка, с одной стороны, и от проблем социального общения — с другой<sup>33</sup>.

Продуктивный анализ форм целого высказываний как реальных единиц речевого потока возможен лишь на основе признания единичного высказывания чисто социологическим явлением. Марксистская философия языка и должна положить в свою основу высказывание как реальный феномен языка речи и как социально-идеологическую структуру.

## ИТОГИ

Показав социологическую структуру высказывания, вернемся к двум направлениям философско-лингвистической мысли и подведем окончательные итоги.

Московский лингвист Р.Шор, примыкающий ко второму направлению философско-лингвистической мысли (абстрактному объективизму), следующими словами кончает свой краткий очерк положения современного языкознания.

«Язык не есть вещь (ἔργον), но естественная природная деятельность человека (ἐνέργεια)» — сказала романтическое языковедение XIX века. Иное говорит современная теоретическая лингвистика: «Язык не есть деятельность индивидуальная (ἐνέργεια), но культурно-историческое достояние человечества (ἔργον)»<sup>34</sup>.

Этот вывод поражает своей односторонностью и предвзятостью. С фактической стороны он совершенно не верен. Ведь к современной теоретической лингвистике относится и школа Фосслера, являющаяся одним из наиболее мощных движений современной лингвистической мысли. Недопустимо отождествлять современную лингвистику лишь с одним из ее направлений.

С точки зрения теоретической, как тезис, так и антитезис, построенные Р.Шор, одинаково должны быть отвергнуты, ибо они одинаково неадекватны действительной природе языка.

Постараемся в заключение сформулировать в немногих положениях нашу точку зрения:

1) *Язык как устойчивая система нормативно-тождественных форм есть только научная абстракция, продуктивная лишь при определен-*

<sup>33</sup> Об отрыве поэтического произведения от условий художественного общения и результатом отсюда овеществлении его см. нашу работу: «Слово в жизни и слово в поэзии» («Звезда», Гиз, 1926 г., кн. № 6).

<sup>34</sup> Указанная статья Р.Шор: «Кризис современной лингвистики», стр. 71.

ных практических и теоретических целях. Конкретной действительности языка эта абстракция не адекватна.

2) Язык есть непрерывный процесс становления, осуществляемый социальным речевым взаимодействием говорящих.

3) Законы языкового становления отнюдь не являются индивидуально-психологическими законами, но они не могут быть отпущены от деятельности говорящих индивидов. Законы языкового становления суть социологические законы.

4) Творчество языка не совпадает с художественным творчеством или с каким-либо иным специально-идеологическим творчеством. Но, в то же время, творчество языка не может быть понято в отрыве от наполняющих его идеологических смыслов и ценностей. Становление языка, как и всякое историческое становление, может ощущаться как слепая механическая необходимость, но может стать и «свободной необходимостью», став осознанной и желанной необходимостью.

5) Структура высказывания является чисто социальной структурой. Высказывание как таковое наличествует между говорящими. Индивидуальный речевой акт (в точном смысле слова «индивидуальный») — *contradictio in adjecto*.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

### ТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ В ЯЗЫКЕ

ТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ. ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА И ЗНАЧЕНИЕ.

ДИАЛЕКТИКА ЗНАЧЕНИЯ.

ЗНАЧЕНИЕ — проблема значения — одна из труднейших проблем лингвистики. В процессе ее разрешения особенно ярко обнаруживается односторонний монолизм лингвистики. Теория пассивного понимания не дает возможности подойти к самым основным и существенным особенностям языкового значения.

В пределах нашей работы мы принуждены ограничиться лишь весьма кратким и поверхностным рассмотрением этого вопроса. Мы постараемся наметить лишь основные линии его продуктивной разработки.

Определенное и единое значение, единый смысл, принадлежит всякому высказыванию как *целому*. Назовем этот смысл целого высказывания его *темой*<sup>53</sup>. Тема должна быть едина, в противном случае у нас не

<sup>53</sup> Обозначение, конечно, условно. Здесь тема обнимает и ее выполнение, поэтому не следует путать наше понятие с темой художественного произведения. Ближе к нему находится понятие «тематического единства».

будет никаких оснований говорить об одном высказывании. Тема высказывания, в сущности, индивидуальна и неповторима как само высказывание. Она является выражением породившей высказывание конкретной исторической ситуации. Высказывание «который час?» имеет каждый раз другое значение и, следовательно, по нашей терминологии, другую тему, в зависимости от той конкретной исторической ситуации (исторической — в микроскопическом размере), во время которой оно произносится и частью которой, в сущности, оно и является.

Отсюда следует, что тема высказывания определяется не только входящими в его состав лингвистическими формами — словами, морфологическими, синтаксическими формами, звуками, интонацией, — но и внесловесными моментами ситуации. Утратив эти моменты ситуации, мы так же не поймем высказывания, как и тогда, когда утрачиваем из него важнейшие слова. Тема высказывания конкретна, — конкретна как тот исторический миг, которому это высказывание принадлежит. *Только высказывание, взятое во всей конкретной полноте, как исторический феномен, обладает темой.* Такова тема высказывания.

Однако, если бы мы ограничились этой исторической неповторимостью и единственностью каждого конкретного высказывания и его темы, мы были бы плохими диалектиками. Рядом с темой или, вернее, внутри темы высказыванию принадлежит и *значение*. Под значением, в отличие от темы, мы понимаем все те моменты высказывания, которые *повторимы и тождественны себе* при всех повторениях. Конечно, эти моменты — абстрактны: в условно обособленной форме они не имеют конкретного самостоятельного существования, но в то же время они — неотделимая, необходимая часть высказывания. Тема высказывания, в сущности, неделима. Значение высказывания, наоборот, распадается на ряд значений входящих в него языковых элементов. Неповторимую тему высказывания «который час?», взятую в неразрывной связи с конкретной исторической ситуацией, нельзя разделить на элементы. Значение высказывания «который час?», — одинаковое, конечно, во всех исторических *случаях* его произнесения, — складывается из значений входящих сюда слов, форм их морфологической и синтаксической связи, вопросительной интонации и т.д.

Тема — *сложная динамическая система знаков, пытающаяся быть адекватной данному моменту становления.* Тема — *реакция становящегося сознания на становление бытия.* Значение — *технический аппарат осуществления темы.* Конечно, провести абсолютную механическую границу между темой и значением — невозможно. Нет темы без значения и нет значения без темы. Более того, нельзя даже показать значение какого-нибудь отдельного слова (например, в процессе научения другого человека иностранному языку), не сделав его, примером, элементом темы, т.е. не построив высказывания — «примера». С другой стороны, тема должна опереться на какую-то устойчивость значения, в противном случае оно утратит свою связь с предшествующим и последующим, т.е. вообще утратит свой смысл.

Изучение языков первобытных народов и современная палеонтология значений приходят к выводу о так называемой *комплексности* первобытного мышления. Первобытный человек употреблял какое-нибудь слово для обозначения многообразнейших явлений, с нашей точки зрения ничем между собой не связанных. Более того, одно и то же слово могло обозначать прямо противоположные понятия — и верх и низ; и землю и небо; и добро и зло; и т.п. «Достаточно сказать, — говорит ак. Н.Я.Март, — что современная палеонтология языка нам дает возможность дойти в его исследовании до эпохи, когда в распоряжении племени было только одно слово для применения во всех значениях, какие только осознавало человечество»<sup>56</sup>.

Но было ли такое всезначашее слово — словом? — могут спросить нас. — Именно было словом. Наоборот, если бы какому-нибудь звуковому комплексу принадлежало одно единственное инертное и неизменное значение, то такой комплекс был бы не словом, а только сигналом<sup>57</sup>. *Множественность значений — конститутивный признак слова*. Относительно всезначашего слова, о котором говорил Н.Я.Март, мы можем сказать следующее: *такое слово, в сущности, почти не имеет значения; оно все — тема*. Его значение *неотделимо от конкретной ситуации его осуществления*. Это значение так же каждый раз иное, как каждый раз иной является ситуация. Здесь тема, таким образом, поглощает, растворяет в себе значение, не давая ему стабилизироваться и хоть сколько-нибудь отвердеть. Но по мере развития языка, по мере расширения запаса звуковых комплексов, значения начинают затвердевать по основным, наиболее повторяющимся в жизни коллектива линиям тематического применения того или иного слова.

Тема, как мы сказали, принадлежит только целому высказыванию, а отдельному слову — лишь поскольку оно фигурирует в качестве целого высказывания. Так, например, всезначашее слово Н.Я.Марта фигурирует всегда в качестве целого (потому-то и не имеет устойчивых значений). Значение же принадлежит элементу и совокупности элементов в их отношении к целому. Конечно, если мы вовсе отвлечемся от отношения к целому (т.е. к высказыванию), то мы вовсе утратим значение. Поэтому-то и нельзя проводить резкой границы между темой и значением.

Правильнее всего было бы формулировать взаимоотношение темы и значения следующим образом. Тема является *верхним, реальным пределом языковой значимости*; в сущности, только тема значит нечто определенное. Значение является *нижним пределом* языковой значимости. Значение, в сущности, ничего не значит, а обладает лишь потенцией,

<sup>56</sup> «По этапам яфетической теории», стр. 278.

<sup>57</sup> Из этого видно, что даже то первобытнейшее слово, о котором говорит Н.Я.Март, ничем не похоже на сигнал, к которому некоторые пытаются свести язык. Ведь сигнал, который значит все, менее всего способен нести функцию сигнала. Сигнал очень слабо способен приспособляться к меняющимся условиям ситуации, и, в сущности, изменение сигнала есть знамена одного сигнала другим.

возможностью значения в конкретной теме. Исследование значения того или иного языкового элемента может, согласно данному нами определению, идти в двух направлениях: или в направлении к верхнему пределу — к теме; в таком случае это будет исследование контекстуального значения данного слова в условиях конкретного высказывания; или же оно может стремиться к нижнему пределу, — пределу значения. В таком случае это будет исследование значения слова в системе языка, другими словами, исследование словарного слова.

Различие между темой и значением и правильное понимание их взаимоотношения является очень важным для построения подлинной науки о значениях. До сих пор важность этого совершенно не была понята. Различение *узального* и *окказионального* значения слова, *основного* и *побочного* значения, значения и *созначения* и т.п. — являются в корне неудовлетворительными. Основная тенденция, лежащая в основе всех подобных различий — приписать большую ценность именно *основному*, *узальному* моменту значения, который мыслится при этом как реально существующий и устойчивый, — совершенно неверна. Кроме того, непонятой остается тема, которая, конечно, отнюдь не может быть сведена к *окказиональному* или *побочному* значению слов.

## ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Различие между темой и значением особенно уясняется в связи с *проблемой понимания*, которой мы здесь вкратце коснемся.

Нам уже приходилось говорить о филологическом типе *пассивного* понимания с заранее исключенным ответом. Всякое истинное понимание активно и является зародышем ответа. Темой может овладеть только активное понимание, становлением овладеть можно только с помощью становления же.

Понять чужое высказывание значит ориентироваться по отношению к нему, найти для него должное место в соответствующем контексте. На каждое слово понимаемого высказывания мы как бы наслаиваем ряд своих отвечающих слов. Чем их больше и чем они существеннее, тем глубже и существеннее понимание.

Таким образом, каждый вы делимый смысловой элемент высказывания и все высказывание в целом — переводятся нами в иной, активный, отвечающий контекст. *Всякое понимание диалогично*. Понимание противостоит высказыванию как реплика противостоит реплике в диалоге. Понимание подыскивает слову говорящего *противослово*. Только понимание чужеземного слова подыскивает «то же самое» слово на своем языке.

Поэтому не приходится говорить, что значение принадлежит слову как такому. В сущности, оно принадлежит слову, находящемуся между говорящими, то есть оно осуществляется только в процессе ответного, активного понимания. Значение — не в слове, и не в душе говорящего, и не в душе слушающего. Значение является *эффектом взаимодействия говорящего со слушателем на материале данного звукового комплекса*.

Это — электрическая искра, появляющаяся лишь при соединении двух различных полюсов. Те, кто игнорирует тему, доступную лишь активному отвечающему пониманию, и пытается в определении значения слова приблизиться к нижнему, устойчивому, себотождественному пределу его, — фактически хотят, выключив ток, зажечь электрическую лампочку. Только ток речевого общения дает слову свет его значения.

ОЦЕНКА И ЗНАЧЕНИЕ | Теперь перейдем к одной из важнейших проблем науки о значениях > к проблеме *взаимотношения оценки и значения.*

Всякое слово, реально сказанное, обладает не только темой и значением в предметном, содержательном смысле этих слов, но и *оценкой*, т.е. все предметные содержания даются в живой речи, сказаны или написаны в соединении с определенным *ценностным акцентом*. Без ценностного акцента нет слова. Чем же является акцент и как он относится к предметной стороне значения?

Наиболее отчетливый, но в то же время наиболее поверхностный слой заключенной в слове социальной оценки передается с помощью *экспрессивной интонации*. Интонация в большинстве случаев определяется ближайшей ситуацией и часто ее мимолетнейшими обстоятельствами. Правда, интонация может быть и более существенной. Вот классический случай применения интонации в жизненной речи. Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает:

«Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного (речь идет об одном самом распространенном нецензурном словечке — *В.В.*). Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле, — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, "что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать!" И вот, всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только, что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге, приподымая руку, кричит..... Эврика, вы думаете? Нашел,

нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж с сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не "показалось", и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторя угрюмым и назидательным басом. . . . да все то же самое, запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: "чего орешь, глотку дерешь!" Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только, но излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем!»<sup>58</sup>.

Все шесть «речевых выступлений» мастеровых различны, несмотря на то, что они состоят из одного и того же слова. В сущности это слово является лишь опорой для интонации. Беседа здесь ведется интонациями, выражающими оценки говорящих. Эти оценки и соответствующие им интонации всецело определяются ближайшей социальной ситуацией беседы, поэтому-то они и не нуждаются ни в какой предметной опоре. В жизненной речи интонация часто имеет совершенно независимое от смыслового состава речи значение. Накопившийся внутренний интонационный материал часто находит себе выход в совершенно неподходящих для данной интонации языковых построениях. При этом интонация не проникает в интеллектуальную, вещественно-предметную значимость построения. Мы выражаем наше чувство, выразительно и глубоко интонируя какое-нибудь случайно подвернувшееся нам слово, часто пустое междометие или наречие. Почти у каждого человека есть свое излюбленное междометие или наречие, или иногда и семантически полновесное слово, которое он обычно употребляет для чисто интонационного разрешения мелких, а иногда и крупных житейских ситуаций и настроений. ТаКНМји интонационными отдушинами служат выражения в роде: «так-так», «да-да», «вот-вот», «ну-ну» и проч. Характерно обычное дублирование таких словечек, то есть искусственное растяжение звукового образа с целью дать накопившейся интонации изжить себя. Одно и то же излюбленное словечко произносится, конечно, с громадным разнообразием интонации, в зависимости от многообразия жизненных ситуаций и настроений.

Во всех этих случаях тема, присущая каждому высказыванию (ведь особая тема присуща и каждому из высказываний шести мастеровых), всецело осуществляется силами одной экспрессивной интонации без помощи значений слов и грамматических связей. Такая оценка и соответствующая ей интонация не может выйти за узкие пределы ближайшей ситуации и маленького интимного социального мирка. Такую оценку, действительно, можно назвать только побочным, сопровождающим явлением языковых значений.

---

<sup>58</sup> Полное собрание сочинений Ф.М.Достоевского, 1906 г., т. IX, р. 274—275.

Однако, не все оценки таковы. Какое бы высказывание мы ни взяли, хотя бы с самым широким смысловым охватом и опирающееся на самую широкую социальную аудиторию, мы все же увидим, что оценке в нем принадлежит громадное значение. Правда, здесь эта оценка не будет хоть сколько-нибудь адекватно выражаться интонацией, но она будет определять выбор и размещение всех основных значащих элементов высказывания. Высказывания без оценки на построишь. Каждое высказывание есть прежде всего *оценивающая ориентация*. Поэтому в живом высказывании каждый элемент не только значит, но и оценивает. Только абстрактный элемент, воспринятый в системе языка, а не в структуре высказывания, представляется лишенным оценки. Установка на абстрактную систему языка и привела к тому, что большинство лингвистов отрывает оценку от значения, считая ее побочным моментом значения, выражением индивидуального отношения говорящего к предмету речи<sup>59</sup>.

В русской литературе об оценке как о *созначении* слова говорит Г.Шпет. Для него характерно резкое разделение предметного значения и оценивающего созначения, которые он помещает в разные сферы действительности. Такой разрыв между предметным значением и оценкой совершенно недопустим и основан на том, что не замечаются более глубокие функции оценки в речи. Предметное значение формируется оценкой, ведь оценка определяет то, что данное предметное значение вошло в кругозор говорящих — как в ближайший, так и в более широкий социальный кругозор данной социальной группы. Далее, оценке принадлежит именно творческая роль в изменениях значений. Изменение значения есть, в сущности, всегда *переоценка*: перемещение данного слова из одного ценностного контекста в другой. Слово или возводится в высший ранг, или бывает разжаловано в низший. Отделение значения слова от оценки неизбежно приводит к тому, что значение, лишенное места в живом социальном становлении (где оно всегда пронизано оценкой), онтологизируется, превращается в идеальное бытие, отрешенное от исторического становления.

#### ДИАЛЕКТИКА ЗНАЧЕНИЯ

Именно для того, чтобы понять историческое становление темы » осуществ-

ляющих ее значений, необходимо *учитывать* социальную оценку. Становление смысла в языке всегда связано со становлением ценностного кругозора данной социальной группы, и становление ценностного кругозора — в смысле совокупности всего того, что имеет значение, имеет важность для данной группы — всецело определяется расширением экономического базиса. На почве расширения базиса реально расширяется круг бытия, доступного, понятного и существенного для человека. Первобытному скотоводу почти ни до чего нет дела, и почти ничто его не касается. Человеку конца капиталистической эпохи — до всего прямое

<sup>59</sup> Так определяет оценку Антон Марти, давший наиболее тонкий детализованный анализ словесных значений. См. *A.Marty* «Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie» (Halle, 1908).

дело, до отдаленнейших краев земли, даже до отдаленнейших звезд. Это расширение ценностного кругозора совершается диалектически. Новые стороны бытия, вовлекаемые в круг социального интереса, приобщающиеся человеческому слову и пафосу, не оставляют в покое уже вовлеченные раньше элементы бытия, а вступают с ними в борьбу, переоценивают их, перемещают их место в единстве ценностного кругозора. Это диалектическое становление отражается в становлении языковых смыслов. Новый смысл раскрывается в старом и с помощью старого, но для того, чтобы вступить в противоречие с этим старым смыслом и перестроить его.

Отсюда непрестанная борьба акцентов в каждом смысловом участке бытия. В составе смысла нет ничего, что стояло бы над становлением, что было бы независимо от диалектического расширения социального кругозора. Становящееся общество расширяет свое восприятие становящегося бытия. В этом процессе не может быть ничего абсолютно устойчивого. Поэтому-то значение — абстрактный, себетождественный элемент — поглощается темой, раздирается ее живыми противоречиями, чтобы вернуться в виде нового значения с такою же мимолетною устойчивостью и себетождественностью.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# К ИСТОРИИ ФОРМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ ЯЗЫКА (Опыт ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА К ПРОБЛЕМАМ СИНТАКСИСА)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### ТЕОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СИНТАКСИСА

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ СИНТАКСИСА. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И ВЫСКАЗЫВАНИЕ  
КАК ЦЕЛОЕ. ПРОБЛЕМА АБЗАЦЕВ. ПРОБЛЕМА ФОРМ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
СИНТАКСИСА

Т<sup>а</sup> почве традиционных принципов и  
I I методов языкознания и особенно на  
I I почве абстрактного объективизма,

где эти методы и принципы нашли свое наиболее отчетливое и последовательное выражение, нет продуктивного подхода к проблемам синтаксиса. Все основные категории современного лингвистического мышления, выработанные преимущественно на почве индогерманского сравнительного языкознания, насквозь *фонетичны* и *морфологичны*. Это мышление, воспитанное на сравнительной фонетике и морфологии, на все остальные явления языка способно смотреть лишь сквозь очки фонетических и морфологических форм. Сквозь эти очки оно пытается взглянуть и на проблемы синтаксиса, что приводит к морфологизации их<sup>1</sup>. Поэтому с синтаксисом дело обстоит чрезвычайно плохо, что открыто признается и большинством представителей индогерманистики.

Это вполне понятно, если мы вспомним основные особенности восприятия мертвого и чужого языка, — восприятия, руководимого основными целями расшифровки этого языка и научения ему других<sup>2</sup>.

Между тем, для правильного понимания языка и его становления проблемы синтаксиса имеют громадное значение. Ведь из форм языка *син-*

<sup>1</sup> Эта скрытая тенденция морфологизовать синтаксическую форму имеет своим следствием то, что в синтаксисе, как нигде в языкознании, господствует схоластическое мышление.

<sup>2</sup> К этому присоединяются еще особенные цели сравнительного языкознания: установление родства языков, их генетического ряда и праязыка. Эти цели еще более содействуют примату фонетики в лингвистическом мышлении. Проблема сравнительного языковедения, очень важная в современной философии языка вследствие того огромного места, какое занимает это языкознание в новое время, к сожалению, в пределах настоящей работы осталась вовсе незатронутой. Проблема эта очень сложна, и для самого поверхностного анализа ее потребовалось бы значительное расширение книги.

токсические формы более всего приближаются к конкретным формам высказывания, к формам конкретных речевых выступлений. Все синтаксические расчленения речи являются расчленением живого тела высказывания и потому с наибольшим трудом поддаются отнесению к абстрактной системе языка. Синтаксические формы конкретнее морфологических и фонетических и теснее связаны с реальными условиями говорения. Поэтому в нашем мышлении живых явлений языка именно синтаксическим формам должен принадлежать примат над морфологическими и фонетическими. Но из сказанного нами ясно также, что продуктивное изучение синтаксических форм возможно только на почве разработанной теории высказывания. Пока высказывание в его целом остается *terra incognita* для лингвиста — не может быть и речи о действительном, конкретном, а не схоластическом понимании синтаксической формы.

#### СИНТАКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И

#### ВЫСКАЗЫВАНИЕ КЛК ЦЕЛОЕ

Мы уже говорили, что с целым высказыванием в лингвистике дело обстоит

черезвычайно плохо. Можно прямо ска-

зать, что лингвистическое мышление безнадежно утратило ощущение речевого целого. Увереннее всего себя чувствует лингвист в середине фразы. Чем дальше к границам речи, к целому высказыванию, тем позиция его становится все неувереннее. К целому же вообще у него нет подхода; ни одна из лингвистических категорий не пригодна для определения целого.

Ведь все лингвистические категории как такие применимы лишь на внутренней территории высказывания. Так, все морфологические категории имеют значимость лишь внутри высказывания; как определения для целого они отказываются служить. Так же и синтаксические категории, например, категория «предложение»; она определяет лишь предложение внутри высказывания как элемент его, но отнюдь не как целое.

Чтобы убедиться в этой принципиальной «элементарности» всех лингвистических категорий, достаточно взять законченное (относительно, конечно, — ибо всякое высказывание — часть речевого процесса) высказывание, состоящее из одного слова. Мы сразу убедимся, если проведем данное слово по всем лингвистическим категориям, что все эти категории определяют слово лишь как возможный элемент речи и не покрывают целого высказывания. Тот плюс, который превращает данное слово в целое высказывание, остается за бортом всех без исключения лингвистических категорий и определений. Доразвив данное слово до законченного предложения со всеми членами (по рецепту «подразумевается»), мы получим простое предложение, а вовсе не высказывание. Под какие лингвистические категории мы ни подводили бы это предложение, мы никогда не найдем как раз того, что превращает его в целое высказывание. Таким образом, оставаясь в пределах наличных в современной лингвистике грамматических категорий, мы никогда не поймем неуловимое речевое целое. Лингвистические категории упорно нас тянут от высказывания и его конкретной структуры в абстрактную систему языка.

## ПРОБЛЕМА АБЗАЦЕВ

Но не только высказывание как целое,  
но и все сколько-нибудь законченные

части монологического высказывания не имеют лингвистических определений. Так обстоит дело с абзацами, отделяемыми друг от друга красной строкой. Синтаксический состав этих абзацев — чрезвычайно разнообразен: они могут включать в себя от одного слова до большого числа сложных предложений. Сказать, что абзац должен заключать в себе законченную мысль, значит ровно ничего не сказать. Ведь требуются определения с точки зрения самого языка, — законченность мысли ни в какой мере не является языковым определением. Если, как мы полагаем, нельзя совершенно отрывать лингвистических определений от идеологических, то нельзя и подменять одни другими.

Если бы мы глубже вникли в языковую сущность абзацев, то убедились бы, что они в некоторых существенных чертах аналогичны репликам диалога. Это — как бы *ослабленный и вошедший внутрь монологического высказывания диалог*. Ощущение слушателя и читателя и его возможных реакций лежит в основе распада речи на части, в письменной форме обозначаемые как абзацы. Чем слабее это ощущение слушателя и учет его возможных реакций, тем более нерасчлененной, в смысле абзацев, будет наша речь. Классические типы абзацев: вопрос-ответ (когда вопрос ставится самим автором и им же дается ответ); дополнения; предвосхищения возможных возражений; обнаружение в собственной речи кажущихся противоречий и нелепостей и пр. и пр.<sup>3</sup> Очень распространен случай, когда мы делаем предметом обсуждения свою собственную речь или часть ее (например, предшествующий абзац). Здесь происходит перенесение внимания говорящего от предмета речи на самую речь (рефлексия над собственной речью). И эта перемена в направлении речевой интенции обуславливается интересом слушателя. Если бы речь абсолютно игнорировала слушателя (что, конечно, невозможно), то ее органическая расчлененность свелась бы к минимуму. Мы отвлекаемся здесь, конечно, от специальных членений, обусловленных особыми заданиями и целями специфических идеологических областей, каковы<sup>1</sup>, например, строфическое членение стихотворной речи или чисто логические членения по типу: предпосылки — вывод; тезис — антитезис и т.п.

Только изучение форм речевого общения и соответствующих форм цельных высказываний может пролить свет на систему абзацев и на все аналогичные проблемы. Пока лингвистика ориентируется на изолированное монологическое высказывание, она лишена органического подхода ко всем этим вопросам. Только на почве речевого общения возможна раз-

<sup>3</sup> Здесь мы, конечно, только намечаем проблему абзацев. Наши утверждения звучат догматически, т.к. мы их не доказываем и не подтверждаем на соответствующем материале. Кроме того, мы упрощаем проблему. В письменной форме красной строкою (абзацами) передаются весьма различные типы членения монологической речи. Мы касаемся здесь лишь одного из важнейших типов такого членения, обусловленного учетом слушателя и его активного понимания.

работка и более элементарных проблем синтаксиса. В этом направлении должен быть сделан тщательный пересмотр всех основных лингвистических категорий. Пробудившийся в последнее время в синтаксисе интерес к интонациям и связанным с этим попытки обновления определений синтаксических целых путем более тонкого и дифференцированного учета интонаций представляются нам мало продуктивными. Они могут стать продуктивными лишь в соединении с правильным пониманием основ речевого общения.

**ПРОБЛЕМАФОРМ**  
**ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ**

Одной из специальных проблем синтаксиса " посвящен<sup>4</sup> следующие гла<sup>В</sup>ы нашей работы .

Иногда чрезвычайно важно осветить по-новому какое-нибудь знакомое и, по-видимому, хорошо изученное явление — *обновленной проблематизацией* его, осветить в нем новые стороны с помощью ряда определенно направленных вопросов. Особенно это важно в тех областях, где исследование переобременено массой шепетильных и детальных, но лишенных всякого направления описаний и классификацией. При такой обновленной проблематизации может оказаться, что какое-нибудь явление представлявшееся частным и второстепенным, имеет принципиальное значение для науки. Удачно поставленной проблемой можно вскрыть заложенные в таком явлении методические возможности.

Таким в высшей степени продуктивным «узловым» явлением представляется нам так называемая *чужая речь*, т.е. те синтаксические шаблоны («прямая речь», «косвенная речь», «несобственная прямая речь»), модификация этих шаблонов и вариации этих модификаций, какие мы встречаем в языке для передачи чужих высказываний и для включения этих высказываний, именно как чужих, в связанный монологический контекст. Исключительный методологический интерес, присущий этим явлениям, до сих пор совершенно не оценен. В этом, на поверхностный взгляд, второстепенном вопросе синтаксиса не умели увидеть проблемы громадной общелингвистической и принципиальной важности<sup>4</sup>. И именно при социологическом направлении научного интереса к языку вскрывается вся методологическая значительность, вся показательность этого явления.

*Проблематизировать в социологическом направлении явление передачи чужой речи* — такова задача нашей дальнейшей работы. На материале этой проблемы мы, попытаемся наметить пути социологического метода в языкознании. Мы не претендуем на большие, положительные выводы специально исторического характера: самый материал, привлеченный нами, достаточный для того, чтобы развернуть проблему и показать необходимость ее социологической направленности, далеко не достаточен для широких исторических обобщений. Эти последние имеют место лишь в форме предварительной и гипотетической.

<sup>4</sup> В синтаксисе Пешковского, например, этому явлению посвящено всего 4 страницы. См. А.М.Пешковский, «Русский синтаксис в научном освещении», изд. П., М., 1920, стр. 465-468.

## ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОБЛЕМЫ <ЧУЖОЙ РЕЧИ>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЧУЖОЙ РЕЧИ». ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЧУЖОЙ РЕЧИ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЮ ДИАЛОГА. ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АВТОРСКОГО КОНТЕКСТА И ЧУЖОЙ РЕЧИ. «ЛИНЕЙНЫЙ СТИЛЬ» ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. «ЖИВОПИСНЫЙ СТИЛЬ» ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**  
**«ЧУЖОЙ РЕЧИ»**

«Чужая речь» — это *речь в речи, высказывание в высказывании,* в то же время это и *речь о*

*речи, высказывание о высказывании.*

Все то, о чем мы говорим, является только содержанием речи, темой наших слов. Такою темой — и только темой — может быть, например, «природа», «человек», «придаточное предложение» (одна из тем синтаксиса); но чужое высказывание является не только темой речи: оно может, так сказать, самолично войти в речь и ее синтаксическую конструкцию как особый конструктивный элемент ее. При этом чужая речь сохраняет свою конструктивную и смысловую самостоятельность, не разрушая и речевой ткани принявшего ее контекста.

Более того, чужое высказывание, оставаясь только темой речи, может быть лишь поверхностно охарактеризовано. Для того, чтобы проникнуть в его содержательную полноту, необходимо ввести его в конструкцию речи. Оставаясь в пределах тематического изображения чужой речи, можно ответить на вопросы: «как» и «о чем» говорил NN, но «что» он говорил, — может быть раскрыто только путем передачи его слов, хотя бы в форме косвенной речи.

Но, будучи конструктивным элементом авторской речи, входя в нее самолично, чужое высказывание в то же время является и темой авторской речи, входит в ее тематическое единство, именно как чужое высказывание, его же самостоятельная тема входит как *тема темы чужой речи.*

Чужая речь мыслится говорящим как высказывание *другого* субъекта, первоначально совершенно самостоятельное, конструктивно законченное и лежащее вне данного контекста. Вот из этого самостоятельного существования чужая речь и переносится в авторский контекст, сохраняя в то же время свое предметное содержание и хотя бы рудименты своей языковой целостности и первоначальной конструктивной независимости. Авторское высказывание, принявшее в свой состав другое высказывание, вырабатывает синтаксические, стилистические и композиционные нормы для его частичной ассимиляции, для его приобщения к синтаксическому, композиционному и стилистическому единству авторского высказывания, сохраняя в то же время, хотя бы в рудиментарной форме, первичную

самостоятельность (синтаксическую, композиционную, стилистическую) чужого высказывания, без чего полнота его неуловима.

В новых языках некоторым модификациям косвенной речи и, в особенности, несобственной прямой речи присуща тенденция переводить чужое высказывание из сферы речевой конструкции в тематический план, в содержание. Однако и здесь это растворение чужого слова в авторском контексте не совершается и не может совершиться до конца: и здесь, помимо смысловых указаний, сохраняется конструктивная упругость чужого высказывания, прощупывается тело чужой речи как себе-довлеющего целого.

Таким образом, в формах передачи чужой речи выражено *активное отношение* одного высказывания к другому, притом выражено не в тематическом плане, а в устойчивых конструктивных формах самого языка.

Перед нами явление *реагирования слова на слово*, однако резко и существенно отличное от диалога. В диалоге реплики грамматически разобщены и не инкорпорированы в единый контекст. Ведь *нет синтаксических форм, конструирующих единство диалога*. Если же диалог дан в объемлющем его авторском контексте, то перед нами случай прямой речи, т.е. одна из разновидностей изучаемого нами явления.

**ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО  
ВОСПРИЯТИЯ ЧУЖОЙ РЕЧИ В  
СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ДИАЛОГА**

Проблема диалога начинает все более и более привлекать к себе внимание лингвистов, а иногда прямо становится в центре лингвистических интересов<sup>5</sup>. Это вполне понятно: ведь реальною единицею языка-речи (Sprache als Rede), как мы уже знаем, является не изолированное единичное монологическое высказывание, а взаимодействие, по крайней мере, двух высказываний, т.е. диалог. Но продуктивное изучение диалога предполагает более глубокое исследование форм передачи чужой речи, ибо в них отражаются основные и константные тенденции *активного восприятия чужой речи*; а ведь это восприятие является основополагающим и для диалога.

В каком деле, как воспринимается чужая речь? Как живет чужое высказывание в конкретном внутренне-речевом сознании воспринимающего, как оно активно прорабатывается в нем и как ориентируется в отношении к нему последующая речь самого воспринявшего?

— В формах передачи чужой речи перед нами именно объективный документ такого восприятия. Этот документ, если уметь его прочесть, говорит нам не о случайных и зыбких субъективно-психологических процессах «в душе» воспринимающего, а об устойчивых социальных тен-

<sup>5</sup> В русской литературе проблеме диалога с лингвистической точки зрения посвящена только одна работа: Л.П.Якубинский. «О диалогической речи», сб. «Русская Речь», Петр., 1923 г. Интересные замечания о диалоге полулингвистического характера имеются в книге В.Виноградова «Поэзия Анны Ахматовой», Лен., 1925 г. (в гл. «Гримасы диалога»). В немецкой литературе проблемы диалога в настоящее время усиленно разрабатываются в школе Фосслера. См. особенно уже цитированное «Die uneigentliche direkte Rede» в «Festschrift für Karl Vossler» (1922).

денциях активного восприятия чужой речи, отлагающихся в формах языка. Механизм этого процесса — не в индивидуальной душе, а в обществе, отбирающем и грамматикализирующем (т.е. приобщающем к грамматической структуре языка) лишь те моменты в активном оценивающем восприятии чужого высказывания, которые социально существенны и константны и, следовательно, обоснованы в самом экономическом бытии данного говорящего коллектива.

Конечно, между активным восприятием чужой речи и ее передачей в связанном контексте имеются существенные различия. Их не следует игнорировать. Всякая, в особенности закрепленная, передача преследует какие-нибудь специальные цели: рассказ, судебный протокол, научная полемика и т.п. Далее, передача рассчитана на третьего, т.е. на того, кому именно передаются чужие слова. Эта ориентация на третьего особенно важна: она усиливает влияние организованных социальных сил на речевое восприятие. В живом диалогическом общении, в самый момент передачи воспринятых слов собеседника, слова, на которые мы отвечаем, обычно отсутствуют. Мы повторяем в своем ответе слова собеседника только в особых, исключительных случаях: чтобы подтвердить правильность своего понимания, чтобы поймать его на слове и пр. Все эти специфические моменты передачи должны быть учтены. Но существо дела от этого не меняется. Условия передачи и ее цели способствуют лишь актуализации того, что уже заложено в тенденции внутренне-речевого активного восприятия, а эти последние, в свою очередь, могут развиваться лишь в пределах имеющихся в языке форм передачи речи.

Мы, конечно, далеки от утверждения, что синтаксические формы, например, косвенной или прямой речи прямо и непосредственно выражают тенденции и формы активного оценивающего восприятия чужого высказывания. Конечно, мы не воспринимаем прямо в формах косвенной или прямой речи. Они лишь устойчивые шаблоны передачи. Но, с одной стороны, эти шаблоны и их модификации могли возникнуть и сложиться лишь в направлении господствующих тенденций восприятия чужой речи, а с другой — поскольку они уже сложились и наличны в языке, они оказывают регулирующее, стимулирующее или тормозящее влияние на развитие тенденций оценивающего восприятия, которые движутся в предначеченном этими формами русле.

Язык отражает не субъективно-психологические колебания, а устойчивые социальные взаимоотношения говорящих. В различных языках, в различные эпохи, в различных социальных группах, в различных целевых контекстах преобладает то одна, то другая форма, то одни, то другие модификации этих форм. Всё это говорит о слабости или силе тех тенденций социальной взаимоориентации говорящих, — устойчивыми, вековыми отложениями которых и являются данные формы. Если в определенных условиях какая-нибудь форма оказывается в загоне (например, некоторые — именно «рационально-догматические» — модификации косвенной речи в современном русском романе), то это свиде-

тельствует о том, что преобладающим тенденциям понимания и оценки чужого высказывания трудно проявляться в этой форме, не дающей им простора, тормозящей их.

**ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
АВТОРСКОГО КОНТЕКСТА И  
ЧУЖОЙ РЕЧИ**

Все существенное в оценивающем восприятии чужого высказывания? «все» — «то», «гущее» — «какое-либо» идеологическое значение, выражено в материале внутренней

речи. Ведь воспринимает чужое высказывание не немое бессловесное существо, а человек, полный внутренними словами. Все его переживания, — так называемый апперцептивный фон, — даны на языке его внутренней речи и лишь постольку соприкасаются с воспринимаемой внешней речью. Слово соприкасается со словом. В контексте этой внутренней речи и совершается восприятие чужого высказывания, его понимание и оценка, т.е. активная ориентация говорящего. Это активное внутренне-речевое восприятие идет в двух направлениях: во-первых, чужое высказывание обрамляется *реально-комментирующим контекстом* (совпадающим частично с тем, что называют апперцептивным фоном слова), ситуацией (внутренней и внешней), зримой экспрессией и пр.; во-вторых, *подготавливается реплика* (Gegenrede). И подготовка реплики — *внутреннее реплицирование*<sup>6</sup> и *реальное комментирование*, конечно, органически слиты в единстве активного восприятия и выделены лишь абстрактно. Оба направления восприятия находят свое выражение, объективируются в окружающем чужую речь «авторском» контексте. Независимо от того, какова целевая направленность данного контекста — будет ли это художественный рассказ, полемическая статья, защитная речь адвоката и т.п., — мы явственно различим в нем эти две тенденции: *реально-комментирующую* и *реплицирующую*, причем обычно преобладает одна из них. Между чужою речью и передающим ее контекстом господствуют сложные и напряженные динамические отношения. Не учитывая их, нельзя понять форму передачи чужой речи.

Основная ошибка прежних исследователей форм передачи чужой речи заключается в почти полном отрыве ее от передающего контекста. Отсюда и статичность, неподвижность в определении этих форм (эта статичность характерна вообще для всего научного синтаксиса). Между тем, истинным предметом исследования должно быть именно динамическое взаимоотношение этих двух величин — передаваемой («чужой») и передающей («авторской») речи. Ведь реально они существуют, живут и формируются только в этом взаимодействии, а не сами по себе в своей отдельности. Чужая речь и передающий контекст — только термины динамического взаимоотношения. Эта динамика, в свою очередь, отражает динамику социальной взаимоориентации словесно-идеологически общающихся людей (конечно, в существенных и устойчивых тенденциях этого общения).

<sup>6</sup> Термин заимствован у Якубинского, — см. названную статью, стр. 136.

В каких направлениях может развиваться динамика взаимоотношений авторской и чужой речи?

Мы наблюдаем два основных направления этой динамики.

«ЛИНЕЙНЫЙ стиль»

ПЕРЕДАЧИ чужой РЕЧИ

Во-первых, основная тенденция активного ретрансляции на чужую речь может блюсти ее целостность и аутентичность.

Язык может стремиться создавать отчетливые и устойчивые грани чужой речи. В этом случае шаблоны и их модификации служат более строгому и четкому выделению чужой речи, ограждению ее от проникновения авторских интонаций, к сохранению и развитию ее индивидуально-языковых особенностей.

Таково первое направление. В пределах его должно строго различать, насколько дифференцировано в данной языковой группе социальное восприятие чужой речи, насколько раздельно ощущаются и социально весомы экспрессия, стилистические особенности речи, лексикологическая окраска и пр. Или же чужая речь воспринимается лишь как целостный, социальный акт, как некая неделимая, смысловая позиция говорящего, т.е. воспринимается только *что* речи и за порогом восприятия остается *как*. Такой предметно-смысловой и в языковом отношении обезличивающий тип восприятия и передачи чужой речи господствует в старо- и среднефранцузском языке (в последнем значительное развитие обезличивающих модификаций косвенной речи)<sup>7</sup>. Тот же тип мы встречаем в памятниках древнерусской письменности, однако при почти полном отсутствии шаблона косвенной речи. Господствующий здесь тип — обезличенная (в языковом смысле) прямая речь<sup>8</sup>.

В пределах первого направления должно также различать и степень авторитарного восприятия слова, степень его идеологической уверенности и догматичности. Чем догматичнее слово, чем менее допускает понимающее и оценивающее восприятие какие-либо переходы между истиной и ложью, между добром или злом, тем более будут обезличиваться формы передачи чужой речи. Ведь при грубой и резкой альтернативности всех социальных оценок нет места для положительного и внимательного отношения ко всем индивидуализующим моментам чужого высказывания. Такой авторитарный догматизм характерен для среднефранцузской письменности и для нашей древней письменности. Для XVII века во Франции и XVIII у нас — характерен рационалистический догматизм, так же, хотя и в других направлениях, понижающий речевую индивидуацию. В пределах рационалистического догматизма преобладают предмет-

<sup>7</sup> О некоторых особенностях в данном отношении старофранц. яз. см. ниже. О передаче чужой речи в среднефранц. яз. см. *Gertraud Lerch*, «Die uneigentliche direkte Rede» в «Festschrift für Karl Vossler» (1922), стр. 112 и сл. Также: *Karl Vossler*, «Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung» (1913).

<sup>8</sup> Напр., в «Слове о полку Игореве» нет ни одного случая косвенной речи, несмотря на обилие в этом памятнике «чужой речи». В летописях она чрезвычайно редка. Чужая речь всюду вводится в форме компактной, непроницаемой массы, очень слабо или совершенно не индивидуализованной.

но-аналитические модификации косвенной речи и риторические модификации прямой речи<sup>9</sup>. Четкость и ненарушимость взаимных границ авторской и чужой речи достигает здесь наивысшего предела.

Это первое направление в динамике речевой взаимоориентации авторской и чужой речи мы, пользуясь искусствоведческим термином Вельфлина, назвали бы *линейным стилем* (der lineare Stil) передачи чужой речи. Основная тенденция его — создание отчетливых, внешних контуров чужой речи при слабости ее внутренней индивидуации. При полной стилистической однородности всего контекста (автор и все его герои говорят одним и тем же языком), грамматически и композиционно чужая речь достигает максимальной замкнутости и скульптурной упругости.

<Живописный стиль>  
**ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ**

При втором направлении динамики взаимоориентации авторской и чужой речи мы замечаем процессы прямо противоположного характера. Язык вырабатывает способы более тонкого и гибкого внедрения авторского реплицирования и комментирования в чужую речь. Авторский контекст стремится к разложению компактности и замкнутости чужой речи, к ее рассасыванию, к стиранию ее границ. Этот стиль передачи чужой речи мы можем назвать *живописным*. Его тенденция — стереть резкие внешние контуры чужого слова. При этом самая речь в гораздо большей степени индивидуализована; ощущение разных сторон чужого высказывания может быть тонко дифференцированным. Воспринимается не только его предметный смысл, содержащееся в нем утверждение, но также и все языковые особенности его словесного воплощения.

В пределах этого второго направления возможно также несколько разнородных типов. Активность в ослаблении границ высказывания может исходить из авторского контекста, пронизывающего чужую речь своими интонациями, юмором, иронией, любовью или ненавистью, восторгом или презрением. Этот тип характерен для эпохи Возрождения (особенно во французском языке), для конца XVIII и почти для всего XIX века. Авторитарный и рациональный догматизм слова при этом совершенно ослаблен. Господствует некоторый релятивизм социальных оценок, чрезвычайно благоприятный для положительного и чуткого восприятия всех индивидуально-языковых нюансов мысли, убеждения, чувства. На этой почве развивается и «колоризм» чужого высказывания, приводящий иногда к понижению смыслового момента в слове (напр., в «натуральной школе», да и у самого Гоголя слова героев иногда почти утрачивают предметный смысл, становясь колоритной вещью, аналогичной костюму, наружности, предметам бытовой обстановки и пр.).

Но возможен и другой тип: речевая доминанта переносится в чужую речь, которая становится сильнее и активнее обрамляющего ее авторского контекста и сама как бы начинает его рассасывать. Авторский контекст утрачивает свою присущую ему нормально большую объектив-

<sup>9</sup> В русском классицизме почти отсутствует косвенная речь.

кость сравнительно с чужою речью. Он начинает восприниматься и сам себя осознает в качестве столь же субъективной «чужой речи». В художественных произведениях это часто находит свое композиционное выражение в появлении рассказчика, замещающего автора в обычном смысле слова. Речь его так же индивидуализована, колоритна и идеологически неавторитетна, как и речь персонажей. Позиция рассказчика зыбка, и в большинстве случаев он говорит языком изображаемых героев. Он не может противопоставить их субъективным позициям более авторитетного и объективного мира. Таков рассказ у Достоевского, Андрея Белого, Ремизова, Сологуба и у современных русских романистов<sup>10</sup>.

Если наступление авторского контекста на чужую речь характерно для сдержанного идеализма или сдержанного же коллективизма в восприятии чужой речи, то разложение авторского контекста свидетельствует о релятивистическом индивидуализме речевого восприятия. Субъективному чужою высказыванию противопоставит сознающий себя столь же субъективным комментирующий и реплицирующий авторский контекст.

Для всего второго направления характерно чрезвычайное развитие смешанных шаблонов передачи чужой речи: несобственной косвенной речи и, особенно, несобственной прямой речи, наиболее ослабляющей границы чужого высказывания. Преобладают также те модификации прямой и косвенной речи, которые более гибки и более проницаемы для авторских тенденций (рассеянная прямая речь, словесно-аналитические формы косвенной речи и пр.).

<sup>10</sup> О роли рассказчика в эпосе существует довольно большая литература. Назовем до настоящего времени основной труд K.Friedemann: «Die Rolle des Erzählers in der Epik», 1910. У нас интерес к рассказчику возбужден «формалистами». Речевой стиль рассказчика у Гоголя В.В.Виноградов определяет как движущийся «зигзагами по линии от автора к героям» (см. его «Гоголь и натуральная школа»). В аналогичном отношении находится, по Виноградову, языковой стиль рассказчика «Двойника» к стилю Голядкина (см. его «Стиль петербургской поэмы «Двойник» в сб. «Достоевский», под ред. Долинина, 1, 1923 г., стр. 239 и 241; сходство языка рассказчика с языком героя подметил уже Белинский). В своей работе о Достоевском Б.М.Энгельгардт совершенно справедливо указывает, что у Достоевского «нельзя найти так называемого объективного описания внешнего мира... Благодаря этому возникает та многопланность действительности в художественном произведении, которая у преемников Достоевского приводит к своеобразному распаду бытия...» Этот «распад бытия» Б.М.Энгельгардт усматривает в «Мелком бесе» Сологуба и в «Петербурге» А.Белого (см. Б.М.Энгельгардт, «Идеологический роман Достоевского» во II сборнике «Достоевский» под ред. Долинина, 1925 г., стр. 94). Вот как определяет Bally стиль Золя: «Personne plus que Zola n'a usé et abusé du prosédé qui consiste a faire passer tous les événements par le cerveau de ses personages, a ne décrire les paysages que par leurs yeux, a nenoncer des idées personnelles que per leur bouche. Dans ses derniers romans, ce n'est plus une manière: c'est un tic, c'est une obsession. Dans Rome, pas un coin de la ville éternelle, pas une senne qu'il ne voit par les yeux de son abbé, pas une idée sur la religion qu'il ne formule par son inter — médiaire». GRM. VI, 417. (Цитата заимствована из: E.Lorck «Die «Erlebte Rede». S. 64.) Проблема рассказчика посвящена интересная статья Ильи Груздева «О приемах художественного повествования» («Записки Передвижного Театра». Петр. 1922 г. №№ 40, 41, 42). Однако лингвистическая проблема передачи чужой речи нигде в этих работах не поставлена.

Прослеживая все эти тенденции активного реагирующего восприятия чужой речи, должно все время учитывать все особенности изучаемых речевых явлений. Особенно важна *целевая направленность* авторского контекста. Художественная речь в данном отношении гораздо более чутко передает все перемены в социально-речевой взаимоориентации. Риторическая речь, в отличие от художественной, уже по самой своей целевой направленности не столь свободна в обращении с чужим словом. Риторика требует отчетливого ощущения границ чужой речи. Ей присуще обостренное чувство собственности на слово, шепетильность в вопросах аутентичности. Судебно-риторическому языку свойственно отчетливое ощущение речевой субъективности «сторон» процесса сравнительно с объективностью суда, судебного решения и всей судебно-исследовательской комментирующей речи. Аналогична и политическая риторика. Важно определить, каков удельный вес риторической речи, судебной и политической, в языковом сознании данной социальной группы в данную эпоху. Далее, должно всегда учитывать социально-иерархическое положение передаваемого чужого слова. Чем сильнее ощущение иерархической высоты чужого слова, тем отчетливее его грани, тем менее оно доступно проникновению во внутрь ее комментирующих и реплицирующих тенденций. Так, в пределах неоклассицизма, в низких жанрах имеются существенные отступления от рационально-догматического, линейного стиля передачи чужой речи. Характерно, что несобственная прямая речь впервые достигла могучего развития именно в баснях и сказках Лафонтена.

Резюмируя все сказанное нами о возможных тенденциях динамического взаимоотношения чужой и авторской речи, мы можем отметить следующие эпохи: *авторитарный догматизм*, характеризующийся линейным и безличным монументальным стилем передачи чужой речи (средневековье); *рационалистический догматизм* с его еще более отчетливым линейным стилем (XVII и XVIII век); *реалистический и критический индивидуализм* с его живописным стилем и тенденцией проникновения авторского реплицирования и комментирования в чужую речь (конец XVIII и XIX век) и, наконец, *релятивистический индивидуализм* с его разложением авторского контекста (современность).

Язык существует не сам по себе, а лишь в сочетании с индивидуальным организмом конкретного высказывания, конкретного речевого выступления. Только через высказывание язык соприкасается с общением, проникается его живыми силами, становится реальностью. Условия речевого общения, его формы, способы дифференциации определяются социально-экономическими предпосылками эпохи. Эти меняющиеся условия социально-речевого общения и определяют разобранные нами изменения форм передачи чужого высказывания. Более того, нам кажется, что в этих формах ощущения самим языком чужого слова и говорящей личности особенно выпукло и рельефно проявляются меняющиеся в истории типы социально-идеологического общения.

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ, ПРЯМАЯ  
РЕЧЬ И ИХ МОДИФИКАЦИИ

ШАБЛОНЫ И МОДИФИКАЦИИ; ГРАММАТИКА И СТИЛИСТИКА. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ШАБЛОН КОСВЕННОЙ РЕЧИ. ПРЕДМЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОСВЕННОЙ РЕЧИ. СЛОВЕСНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОСВЕННОЙ РЕЧИ. ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОСВЕННОЙ РЕЧИ. ШАБЛОН ПРЯМОЙ РЕЧИ. ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ. ОВЕЩЕСТВЛЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ. ПРЕДВОСХИЩЕННАЯ, РАССЕЯННАЯ И СКРЫТАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ. ЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ. РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОСКЛИЦАНИЯ. ЗАМЕЩЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ. НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

ШАБЛОНЫ И МОДИФИКАЦИИ;  
ГРАММАТИКА И СТИЛИСТИКА

Мы наметили основные направления динамики взаимоориентации авторской и чужой речи. Свое конкретное языковое выражение эта динамика находит в шаблонах передачи чужой речи и в модификациях этих шаблонов, которые и являются как бы показателями достигнутого в данный момент развития языка соотношения сил авторского и чужого высказывания.

Теперь мы перейдем к краткой характеристике шаблонов и их важнейших модификаций с точки зрения указанных нами тенденций развития.

Прежде всего несколько слов об отношении модификации к шаблону. Оно аналогично отношению живой действительности ритма к абстракции метра. Шаблон осуществляется лишь в форме определенной модификации его. В модификациях в течение веков или десятилетий накапливаются те изменения, стабилизируются те новые навыки активной ориентации по отношению к чужой речи, которые затем отлагаются в виде прочных языковых образований в синтаксических шаблонах. Сами же модификации лежат на границе грамматики и стилистики. Иной раз возможен спор, является ли данная форма передачи чужой речи шаблоном или модификацией, вопросом грамматики или вопросом стилистики. Такой спор велся, например, по поводу *несобственной прямой речи* в немецком и французском языке между Bally с одной стороны и Kalerку и Logck'oM — с другой. Bally отказывался признать в ней равноправный синтаксический шаблон и видел в ней лишь стилистическую модификацию. Спор может идти и о *несобственной косвенной речи* во французском языке. С нашей точки зрения проведение строгой границы между грамматикой и стилистикой, между грамматическим шаблоном и стилистической модификацией его — методологически нецелесообразно, да и невозможно. Эта граница зыбка в самой жизни языка, где одни формы находятся в процессе грамматикализации, другие — деграматикализации, и именно эти двусмысленные, пограничные формы и представляют для лингвиста

наибольший интерес: тенденции развития языка могут быть уловлены именно здесь<sup>11</sup>.

Нашу краткую характеристику шаблона косвенной и прямой речи мы дадим только в пределах русского литературного языка. При этом мы совершенно не стремимся к исчерпывающему указанию всех возможных модификаций их. Нам важна лишь методологическая сторона вопроса.

**ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕДАЧИ  
ЧУЖОЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.**

Синтаксические шаблоны передачи чужой речи

«русском языке» «как известно»  
«обычно слабо развиты»  
«через»  
собственной прямой речи, лишенной в русском языке каких бы то ни было отчетливых синтаксических признаков (как, впрочем, и в немецком языке), существуют два шаблона: *прямая* и *косвенная* речь. Но между этими двумя шаблонами нет тех резких различий, которые свойственны другим языкам. Признаки косвенной речи очень слабы, и в разговорном языке могут легко совмещаться с признаками прямой речи<sup>12</sup>.

Отсутствие *consecutio temporum* и бездействие сослагательного наклонения лишает нашу косвенную речь своеобразия и не создает благоприятной почвы для обильного развития существенных и интересных для нашей точки зрения модификаций. Вообще приходится говорить о безусловном примате прямой речи в русском языке. В истории нашего языка не было картезианского, рационалистического периода, когда разумно-самоуверенный и объективный «авторский контекст» анализировал и расчленял предметный состав чужой речи, создавал сложные и интересные модификации ее косвенной передачи.

Все эти особенности русского языка создают чрезвычайно благоприятную обстановку для живописного стиля передачи чужой речи, правда, несколько дряблого и расплывчатого, без ощущения преодолеваемых границ и сопротивлений (как в других языках). Господствует чрезвычайная легкость взаимодействия и взаимопроникновения авторской и чужой речи. Это находится в связи и с той малозначительной ролью, которую в истории нашего литературного языка сыграла риторика, с ее

<sup>11</sup> Очень часто можно услышать обвинение Фосслера и фосслерианцев в том, что они занимаются больше вопросами стилистики, чем лингвистикой в строгом смысле слова. В действительности, школа Фосслера интересуется вопросами пограничными, поняв их методологическое и эвристическое значение, и в этом мы усматриваем огромные преимущества этой школы. Беда в том, что в объяснении этих явлений фосслерианцы, как мы знаем, на первый план выдвигают субъективно-психологические факторы и индивидуально-стилистические задания. Этим иногда язык прямо превращается в игрище индивидуального вкуса.

<sup>12</sup> «Во многих других языках косвенная речь синтаксически резко отличается от прямой (специальное употребление времен, наклонений, союзов, личных слов), так что в них существует специальный и очень сложный *шаблон* косвенной передачи речи... В нашем же языке даже те единственные признаки косвенной речи, о которых мы только что сказали, очень часто не выдерживаются, так что косвенная речь смешивается с прямой. Осип/ напр., говорит в "Ревизоре": "Трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за старое". (Пешковский. «Русск. синт.», стр. 465—466. Курсив автора.)

отчетливым линейным стилем в передаче чужого слова, с ее грубой, но определенной односмысленной интонацией.

### ШАБЛОН КОСВЕННОЙ РЕЧИ

1 Дадим прежде всего характеристику косвенной речи> как наименее разрабо-

тайного в русском языке шаблона. Начнем с маленького критического замечания, направленного против А.М.Пешковского. Отметив, что у нас не выработаны формы косвенной речи, он делает следующее, в высшей степени странное заявление:

«Стоит только попробовать передать мало-мальски распространенную прямую речь косвенно ("Осел, уставясь в землю лбом, говорит, что изрядно, что сказать не ложно, его без скуки слушать можно, но что жаль, что он не знаком с их петухом, что он еще бы больше наострился, когда бы у него немного поучился"), чтобы убедиться, что косвенная передача речи русскому языку *не свойственна*»<sup>13</sup> (Пешковский. «Русский синтаксис в научном освещении», изд. 2-е, стр. 466.).

Если бы Пешковский произвел тот же эксперимент непосредственного перелagания прямой речи в косвенную во французском языке, соблюдая лишь грамматические правила, он должен был бы прийти к тем же выводам. Если бы он, например, попытался перевести в формы косвенной речи прямую и даже несобственную прямую речь в баснях Лафонтена (эта последняя форма у Лафонтена очень распространена), то получил бы грамматически столь же правильное, стилистически столь же недопустимое построение, как и в своем русском примере. И это несмотря на то, что во французском языке несобственная прямая речь чрезвычайно близка к косвенной (те же времена и лица). Целый ряд слов, выражений и оборотов, уместных в прямой и несобственной прямой речи, будут звучать дико, перенесенные в конструкцию косвенной речи.

Пешковский совершает типичную для «грамматика» ошибку. Непосредственный, чисто грамматический перевод чужой речи из одного шаблона передачи в другой без соответствующей стилистической переработки его — есть только педагогически скверный и недопустимый метод классных упражнений по грамматике. С живою жизнью шаблонов в языке такое их применение ничего общего не имеет. Шаблоны выражают тенденцию активного восприятия чужой речи. Каждый шаблон по-своему творчески прорабатывает чужое высказывание в определенном, лишь этому шаблону свойственном направлении. Если язык на данной стадии своего развития ощущает чужое высказывание как компактное, неразложимое, неизменное и непроницаемое целое, то в нем и не будет никаких шаблонов, кроме примитивной, инертной прямой речи (монументальный стиль). На этой точке зрения неизменяемости чужого высказывания, абсолютной дословности его передачи стоит и Пешковский в своем эксперименте, но в то же время он пытается применить к нему шаблон косвенной речи. Полученный результат вовсе не доказывает несвойственности русскому языку косвенной передачи. Напротив, он доказывает,

<sup>13</sup> Курсив А.М.Пешковского.

что, несмотря на слабую разработку шаблона косвенной речи, она в русском языке все же настолько своеобразна, что не всякая прямая речь поддается дословному переводу в этот шаблон<sup>14</sup>.

Своеобразный эксперимент Пешковского свидетельствует о полном игнорировании им самого языкового смысла косвенной речи. Смысл этот заключается в *аналитической передаче чужой речи*. Одновременный с передачей и неотделимый от нее анализ чужого высказывания есть обязательный признак всякой модификации косвенной речи. Различными могут быть лишь степени и направления анализа.

Аналитическая тенденция косвенной речи проявляется прежде всего в том, что все *эмоционально-аффективные элементы* речи, поскольку они выражаются не в содержании, а в *формах* высказывания, не переходят в этом же виде в косвенную речь. Они переводятся из формы речи в ее содержание и лишь в таком виде вводятся в косвенную конструкцию или же переносятся даже в главное предложение как комментирующее развитие вводящего речь глагола.

Например, прямую речь:

«Как хорошо! Это — исполнение!»

нельзя передать в косвенной речи так:

«Он сказал, что как хорошо и что это исполнение»

но или:

«Он сказал, что *это* очень хорошо и что это *настоящее* исполнение»

или же:

«Он восторженно сказал, что это хорошо и что это настоящее исполнение».

Все возможные в прямой речи на эмоционально-аффективной почве сокращения, пропуски и т.п. не допускаются аналитической тенденцией косвенной речи и в ее конструкцию входят только в развитом и полном виде. В примере Пешковского восклицание осла: «Изрядно!» не может быть непосредственно введено в косвенную речь:

«Говорит, что изрядно...»

но только:

«Говорит, что это изрядно...»

или даже

«Говорит, что соловей поет изрядно...»

Также не может быть непосредственно введено в косвенную речь «Сказать неложно». Также и выражение прямой речи: «А жаль, что не знаком»... и т.д. — нельзя передавать: «Но что жаль, что не знаком»... и т.д.

Само собой разумеется, что и всякое *конструктивное и конструктивно-акцентное* выражение намерений говорящего из прямой речи не может непосредственно в этой же форме перейти в косвенную речь. Так, конструктивные и акцентные особенности вопросительных, восклицательных

<sup>14</sup> Разобранная нами ошибка Пешковского лишний раз свидетельствует о *методологической пагубности* разрыва между грамматикой и стилистикой.

цательных и повелительных предложений не сохраняются в косвенной речи, отмечаясь лишь в ее содержании.

Косвенная речь *иначе* «слышит» чужое высказывание, активно воспринимает и актуализует в его передаче *иные* моменты и оттенки, чем другие шаблоны. Поэтому и невозможен непосредственный, дословный перевод высказывания из других шаблонов в косвенный. Он возможен лишь в тех случаях, когда прямое высказывание само уже построено несколько аналитически, конечно, в пределах возможной в прямой речи аналитичности. Анализ — душа косвенной речи.

Всматриваясь в «эксперимент» Пешковского, мы замечаем, что лексическая окраска таких слов, как «изрядно», «навострился» — не вполне гармонирует с аналитической душой косвенной речи. Эти слова слишком *колоритны*; они рисуют *языковую манеру* (индивидуальную или типовую) *персонажа-осла*, а не только передают точный предметный смысл его высказывания. Их хочется заменить смысловыми эквивалентами («хорошо», «усовершенствоваться») или же, оставляя эти «словечки» в косвенной конструкции, заключить их все же в кавычки. И в самом чтении вслух данной косвенной речи мы несколько иначе произнесем указанные слова, как бы давая понять своей интонацией, что эти выражения взяты непосредственно из речи персонажа, что мы отгораживаемся от них.

Но здесь мы вплотную подходим к необходимости различать два направления, какие может принять аналитическая тенденция косвенной речи и, соответственно, две основных модификации ее.

Действительно, анализ косвенной конструкции может идти по двум направлениям или, точнее, может относиться к двум существенно различным объектам. Чужое высказывание может восприниматься как определенная *смысловая позиция* говорящего, и в этом *случае* с помощью косвенной конструкции аналитически передается его точный *предметный состав* (что сказал говорящий). Так, в нашем случае, возможна точная передача предметного смысла оценки ослом соловьиного пения. Но можно воспринять и аналитически передать чужое высказывание как *выражение*, характеризующее не только предмет речи (или даже не столько предмет речи), но и *самого говорящего*: его речевую манеру, индивидуальную или типовую (или и ту, и другую), его душевное состояние, выраженное не в содержании, а в формах речи (например: прерывистость, расстановка слов, экспрессивная интонация и пр.), его умение или неумение хорошо выражаться и т.п.

Эти два объекта аналитической косвенной передачи глубоко и принципиально различны. В одном случае расчленяется смысл на составляющие его смысловые, предметные моменты, в другом — само высказывание как такое разлагается на его словесно-стилистические пласты. Логическим пределом второй тенденции был бы лингвистико-стилистический анализ. Одновременно с таким, как бы стилистическим анализом, идет, однако, и в этом типе косвенной передачи предметный анализ чужой речи, и в

результате получается аналитическое расчленение предметного смысла и воплощающей его словесной оболочки.

Назовем первую модификацию шаблона косвенной речи *предметно-аналитической*, вторую — *словесно-аналитической*. Предметно-аналитическая модификация воспринимает чужое высказывание в *чисто тематическом плане*, а все то, что не имеет никакого тематического значения, она просто в нем не слышит, не улавливает. Те же стороны словесно-формальной конструкции, которые тематическое значение имеют, т.е. нужны для понимания смысловой позиции говорящего, наша модификация передает тематически же (так, в нашем примере восклицательная конструкция и экспрессия восторга могут быть переданы словом «очень») или прямо вводит их в авторский контекст как характеристику от автора.

**ПРЕДМЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
МОДИФИКАЦИЯ КОСВЕННОЙ  
РЕЧИ**

PF4M

Предметно-аналитическая модификация открывает широкие возможности для реплицирующих и комментирующих тенденций авторской речи, сохраняя в то же

время *отчетливую* и *строгую дистанцию* между авторским и чужим словом. Благодаря этому она является прекрасным средством для линейного стиля передачи чужой речи. Этой модификации бесспорно присуща тенденция тематизовать чужое высказывание, сохраняя за ним не столько конструктивную, сколько смысловую упругость и самостоятельность (мы видели, как тематизуется в ней экспрессивная конструкция чужого высказывания). Это достигается, конечно, лишь ценой известного обезличивания передаваемой речи.

Сколько-нибудь широкое и существенное развитие предметно-аналитической модификация может получить только в несколько рационалистическом и догматическом авторском контексте, в котором, во всяком случае, сильна смысловая заинтересованность, где автор своими словами сам, от своего лица, занимает какую-то смысловую позицию. Где этого нет, где авторское слово само колоритно и овеществлено или где прямо вводится соответствующего типа рассказчик, там эта модификация может иметь лишь весьма второстепенное эпизодическое значение (например, у Гоголя, у Достоевского и у др.).

В русском языке эта модификация в общем слабо развита. Преимущественно она встречается в познавательном и риторическом контексте (в научном, в философском, политическом и пр.), где приходится излагать чужие мнения на предмет, сопоставлять их, размежевываться с ними. В художественной речи она редка. Известное значение она приобретает лишь у тех авторов, которые не отказываются от *своего* слова в его *смысловой направленности* и весомости, например у Тургенева и, в особенности, у Толстого. Но и здесь мы не находим того богатства и разнообразия вариаций этой модификации, какое мы встречаем во французском и немецком языках.

САОВЕСНО-ЛИАЛИГИЧЕСКАЯ  
МОДИФИКАЦИЯ КОСВЕННОЙ  
РЕЧИ

Переходим к *словесно-аналитической* модификации. Она вводит в косвенную конструкцию слова и обороты чужой речи, характеризующие субъективную и

стилистическую физиономию чужого высказывания как выражения. Эти слова и обороты вводятся так, что отчетливо ощущается их специфичность, субъективность, типичность, чаще же всего они прямо заключены в кавычки. Вот четыре примера:

1) «О покойном (Григорий) выразился, перекрестясь, что малый был со способностями, да глуп и *болезнью угнетен*, а пуше *безбожник*, и что его *безбожеству* Федор Павлович и старший сын учили» (Достоевский, «Братья Карамазовы») <sup>15</sup>.

2) «То же приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба *"служили короне"* и что "пан *Мутя*" предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его» (ibid.) <sup>103</sup>.

3) «Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть "в *наш век*" в лошадки, но что он делает это для "*пузырей*", потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета» (ibid.) <sup>103</sup>.

4) «Он нашел ее (т.е. Настасью Филипповну) в состоянии, похожем на совершенное помешательство: она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме, что она сейчас видела, что он ее *убьет ночью...* зарежет!..» (Достоевский, «Идиот». Здесь в косвенной конструкции сохранена экспрессия чужого высказывания.) <sup>103</sup>

Введенные в косвенную речь и ощущаемые в своей специфичности чужие слова и выражения (особенно, если они заключены в кавычки) «остраиваются», говоря языком формалистов, и остраиваются именно в том направлении, в каком это нужно автору; они овеществляются, их колоритность выступает ярче, а в то же время на них ложатся тона авторского отношения — иронии, юмора и пр.

Эту модификацию косвенной речи следует отличать от случаев непосредственного перехода косвенной речи в прямую, хотя функции их почти однородны: когда прямая речь продолжает косвенную, ее речевая субъективность выступает отчетливее и в нужном автору направлении. Например:

1) «Трифон Борисович, как ни вилял, но после допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято все возвратил и вручил "по *самой честности*, и что вот только они сами, будучи в то время совсем пьяным-с, вряд ли это могут припомнить"» (Достоевский, «Братья Карамазовы») <sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Гхурсив наш.

<sup>16</sup> Ыу рейв наш.

2) «При всей глубочайшей почительности к памяти своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и "не так воспитал детей. Его, малюго мальчика, без меня вши бы заели", прибавил он, повествуя о детских годах Мити» (ibid.)<sup>104</sup>.

Этот случай, где прямая речь готовится косвенной и как бы непосредственно из нее возникает, — подобно пластическому образу, не вполне отделившемуся от необработанной глыбы в скульптурах Родэна, — является одной из бесчисленных модификаций прямой речи в ее живописной трактовке.

Такова словесно-аналитическая модификация косвенной конструкции. Она создает совершенно своеобразные живописные эффекты в передаче чужой речи. Эта модификация предполагает высокую степень индивидуации чужого высказывания в языковом сознании, умение дифференцированно ощущать словесные оболочки высказывания и его предметный смысл. Это не свойственно ни авторитарному, ни рационалистическому восприятию чужого высказывания. Как употребительный стилистический прием, она может укорениться в языке лишь на почве критического и реалистического индивидуализма, между тем как предметно-аналитическая модификация характерна именно для рационалистического индивидуализма. В истории русского литературного языка этот последний период почти совершенно отсутствовал. Поэтому-то мы наблюдали несравненное преобладание словесно-аналитической модификации над предметной. Отсутствие *consecutio temporum* в русском языке также в высшей степени благоприятно для развития словесно-аналитической модификации.

Мы видим, таким образом, что наши две модификации, хотя и объединены общей аналитической тенденцией шаблона, но выражают глубоко различные языковые концепции чужого слова и говорящей личности. Для первой модификации говорящая личность дана лишь как занимающая определенную смысловую позицию (познавательную, этическую, жизненную, житейскую) и вне этой позиции, передаваемой строго предметно, она не существует для передающего. Здесь нет места для сгущения ее в образ. Во второй модификации, наоборот, личность дана как субъективная *манера* (индивидуальная и типовая), манера мыслить и говорить, инвольвирующая и авторскую оценку этой манеры. Здесь говорящая личность уже сгущается до образа.

ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКАЯ  
МОДИФИКАЦИЯ КОСВЕННОЙ  
РФМ/1

1 В русском языке может быть указана еще и третья — довольно существе-ая, модификация косвенной конструкции,

1 применяемая главным образом для передачи внутренней речи, мыслей и переживаний героя. Эта модификация очень свободно трактует чужую речь, сокращая ее, часто намечая лишь ее темы и доминанты, и потому она может быть названа *импрессионистической*. Авторская интонация легко и свободно переплещивается в ее зыбкую структуру. Вот классический образец такой импрессионистической модификации из «Мерного Всадника»:

«О чем же думал он? о том, что был он беден; что трудом он должен был себе доставить и независимость и честь; что мог бы бог ему прибавить ума и денег. Что ведь есть такие праздные счастливыцы, ума недалежного, ленивыцы, которым *жизнь куда* легка! Что служит он всего два года; он также думал, что погода не унималась; что река все прибывала; что едва ли с Невы мостов уже не сняли и что с Парашей будет он дня на два, на три разлучен. Так он мечтал...»<sup>17</sup>

Мы усматриваем из этого примера, что импрессионистическая модификация косвенной речи лежит где-то посредине между предметно-аналитической и словесно-аналитической. Временами здесь производится отчетливо предметный анализ. Некоторые слова и обороты явно рождены из сознания самого Евгения (однако, без подчеркивания их специфичности). Но сильнее всего слышится ирония самого автора, его акцентуация, его активность в расположении и сокращении материала.

1 ШЛВЛОН ПРЯМОЙ РЕЧИ | 1 | Перейдем теперь к *шаблону прямой речи*. Он чрезвычайно хорошо Работан

в русском литературном языке и обладает громадным разнообразием существенно различных модификаций. От громоздких, инертных и неразложимых глыб прямой речи в древних памятниках до современных гибких и часто двусмысленных способов введения ее в авторский контекст лежит длинный и поучительный исторический путь ее развития. Но здесь мы должны отказать как от рассмотрения этого исторического пути, так и от статического описания наличных модификаций прямой речи в литературном языке. Мы ограничимся лишь теми модификациями, в которых совершается взаимный обмен интонациями, как бы взаимное заражение между авторским контекстом и чужою речью. При этом нас интересуют не столько те случаи, где авторская речь ведет наступление на чужое высказывание, пронизывая его своими интонациями, сколько те, где, наоборот, чужие слова расплзаются и рассеиваются по всему авторскому контексту, делая его зыбким и двусмысленным. Впрочем, между теми и другими случаями не всегда можно провести резкую границу: очень часто заражение бывает именно взаимным.

1 | ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ | 1 | Первому направлению динамики взаимоотношения (наступлению автора) служит та модификация, которую можно назвать *подготовленную прямую речью*<sup>13</sup>.

Здесь относится уже знакомый нам случай возникновения прямой речи из косвенной. Особенно интересным и распространенным случаем этой

<sup>17</sup> Курсив наш.

<sup>18</sup> Мы не касаемся более примитивных способов авторского реплицирования и комментирования прямой речи: внесение в нее авторского курсива (т.е. перемещение акцента); перебивание ее различными замечаниями, заключениями в скобки или просто знаками восклицания, вопроса, недоумения («sic!» и т.п.). Существенное значение для преодоления инертности прямой речи имеет помещение в соответствующих местах вводящего ее глагола в соединении с комментирующими и реплицирующими замечаниями.

модификации является возникновение прямой речи из «несобственной прямой», которая подготавливает ее апперцепцию, будучи сама полурасказом, полужужой речью. Основные темы будущей прямой речи здесь предвосхищаются контекстом и окрашиваются авторскими интонациями; этим путем границы чужого высказывания чрезвычайно ослабляются. Классическим образцом этой модификации является изображение состояния князя Мышкина перед эпилептическим припадком в «Идиоте» Достоевского, именно — почти вся пятая глава второй части этого произведения (здесь же и великолепные образцы несобственной прямой речи). Прямая речь князя Мышкина в этой главе все время звучит в его собственном мире, так как рассказ ведется автором в пределах его (князя Мышкина) кругозора. Для чужого слова здесь создается полужужой (героя же), полуавторский апперцептивный фон. Правда, этот случай со всей наглядностью показывает нам, что такое глубокое проникновение авторских интонаций в прямую речь почти всегда связано с ослаблением объективности самого авторского контекста.

**ОВЕЩЕСТВЛЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ** , же тенденции; мож Другую модификацию, служащую той же тенденции; но **овецествленную прямую речью**. Здесь авторский контекст строится так, что объектные определения героя (от автора) бросают густые тени на его прямую речь. На слова героя переносятся те оценки и эмоции, которыми насыщено его объектное изображение. Смысловый вес чужих слов понижается, но зато усиливается их характерологическое значение, их колоритность или их бытовая типичность. Так, когда мы по гриму, костюму и общему тону узнаем на сцене комический персонаж, мы уже готовы смеяться, прежде чем вникнем в смысл его слов. Такова, в большинстве случаев, прямая речь у Гоголя и у представителей так называемой «натуральной школы». В своем первом произведении Достоевский и попытался вернуть душу этому овеществленному чужому слову.

**ПРЕДВОСХИЩЕННАЯ,  
РАССЕЯННАЯ И СКРЫТАЯ  
ПРЯМАЯ РЕЧЬ**

Подготовка чужой речи и предвосхищение рассказом ее темы > ее оценок и акцентов может настолько субъективировать и окрасить в тона героя авторский контекст, что он сам начнет звучать как «чужая речь», правда, включающая все же авторские интонации. Ведение рассказа исключительно в пределах кругозора самого героя, за что, как мы видели, Валу упрекал еще Золя, притом не только в пределах пространственного и временного, но и ценностного интонационного кругозора, создает в высшей степени своеобразный апперцептивный фон для чужого высказывания. Это дает право говорить об особой модификации *предвосхищенной и рассеянной* чужой речи, *запрятанной* в авторском контексте и как бы прорывающейся в действительном прямом высказывании героя.

Эта модификация очень распространена в современной прозе, особенно у Андрея Белого и тех писателей, которые находятся под его влиянием (см., напр., Эренбург, «Николай Курбов»), Но классические образ-

цы ее нужно искать в произведениях Достоевского первого и второго периода (в последнем периоде эта модификация встречается реже). Мы остановимся на анализе его повести «Скверный анекдот».

Весь рассказ может быть взят в кавычки как рассказ «рассказчика», хотя тематически и композиционно не отмеченного. Но и внутри рассказа почти каждый эпитет, определение, оценка могут тоже быть взяты в кавычки как рожденные из сознания того или другого героя.

Выписываем небольшой отрывок из начала этой повести:

«Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем, часу уже в двенадцатом, три *чрезвычайно-почтенные мужа* сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате в одном *прекрасном* двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались *солидным и превосходным* разговором на *весьма любопытную* тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в *прекрасном* мягком кресле, и между разговором тихо и *комфортно* потягивали шампанское»<sup>19</sup>.

Если мы отвлечемся от интересной и сложной игры интонаций, то этот отрывок придется определить как стилистически в высшей степени скверный и пошлый. В самом деле, в восьми печатных строках описания два раза встречается эпитет «прекрасный», два раза «комфортный», а прочие эпитеты — «роскошный», «солидный», «превосходный», «чрезвычайно почтенный»!

Самый суровый приговор такому стилю неизбежен, если мы примем это описание всерьез от автора (как у Тургенева или Толстого) или хотя бы и от рассказчика, но одного рассказчика (как в Ich-Erzählung). Однако, так принимать этот отрывок нельзя. Каждый из этих пошлых, бледных, ничего не говорящих эпитетов является ареной встречи и борьбы двух интонаций, двух точек зрения, двух речей!

Но вот еще несколько отрывков из характеристики хозяина дома — тайного советника Никифорова.

«Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду ... особенно не любил неряшества и восторженности, считал ее неряшеством нравственным и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то *сладкий, ленивый комфорт* и систематическое одиночество... Наружности он был *чрезвычайно приличной и выбритой*, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался *самого высокого джентльменства*. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. *Одним словом, его считали превосходнейшим человеком*. Была у него одна только страсть, или лучше сказать, одно горячее желание: это иметь свой *собственный дом*, выстроенный на *барскую*, а не на капитальную ногу. Желание его, наконец, осуществилось».

---

<sup>19</sup> Курсив наш.

Теперь нам ясно, откуда взялись пошлые и однообразные, но столь *выдержанные* в своей пошлости и однообразии, эпитеты предыдущего отрывка. Они родились из генеральского сознания, смакующего свой комфорт, свой собственный домик, свое положение, свой чин, из сознания пробившегося в люди тайного советника Никифорова. Их можно было бы взять в кавычки как «чужую речь», речь Никифорова. Но они принадлежат не только ему. Ведь повествование ведет рассказчик, который как бы солидарен с «генералами», лебезит перед ними, держится во всем их мнения, говорит их языком, — но при этом провокаторски все это утрирует, выдавая с головой все их возможные и действительные высказывания авторской иронии и издевательству. В каждом пошлом эпитете рассказа автор через *medium* рассказчика иронизирует и издевается над своим героем. Этим и создается сложная, почти непередаваемая при чтении вслух игра интонаций в нашем отрывке.

Дальнейший рассказ весь построен в кругозоре другого главного героя — Пралинского. И весь он усеян эпитетами, оценками этого героя, то есть его скрытую речь, и на этом фоне, пропитанном авторской иронией, подымается его действительная, заключенная в кавычки, внутренняя и внешняя «прямая речь».

Таким образом, почти каждое слово этого рассказа с точки зрения своей экспрессии, своего эмоционального тона, своего акцентного положения в фразе *входит одновременно в два пересекающиеся контекста, в две речи*: в речь автора-рассказчика (ироническую, издевательскую) и в речь героя (которому не до иронии). Эту одновременную причастность двум речам, по своей экспрессии различно направленным, объясняется и своеобразие построения фраз, «изломы синтаксиса» и своеобразие стиля. В пределах только одной из этих двух речей и фраза была бы построена иначе, и стиль был бы иным. Перед нами классический случай почти совершенно не изученного лингвистического явления — *речевой интерференции*.

ЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Это явление речевой интерференции в русском языке может частично иметь место в словесно-аналитической модификации косвенной речи, в тех сравнительно редких случаях ее, где в пределах косвенной передачи сохраняются не только отдельные слова и выражения, но и экспрессивная конструкция чужого высказывания. Так было в нашем четвертом примере, где в косвенную речь перешла — правда, ослабленная — восклицательная конструкция прямого высказывания. В результате получился некоторый разноречивый спокойной протоколно-повествовательной интонации авторской аналитической передачи с возбужденной истерической интонацией полубезумной героини. Отсюда и некоторая своеобразная искривленность синтаксической физиономии этой фразы, служащей двум господам, причастной одновременно двум речам. Но на почве косвенной речи явление речевой интерференции не может получить сколько-нибудь отчетливого и устойчивого синтаксического выражения.

Наиболее важным и синтаксически шаблонизированным (во всяком случае во французском языке) случаем интерферирующего слияния двух, интонационно разнонаправленных речей, является *несобственная прямая речь*. Ввиду ее исключительной важности мы посвящаем ей всю следующую главу. Там мы рассмотрим и историю вопроса в романо-германистике. Ведшийся вокруг несобственной прямой речи спор, высказанные по вопросу мнения (в особенности из школы Фосслера) представляют большой методологический интерес и потому будут подвергнуты нами критическому анализу. Здесь же, в пределах настоящей главы, мы рассмотрим еще некоторые явления, родственные несобственной прямой речи и в русском языке, по-видимому, послужившие почвой для ее рождения и формирования.

Мы интересовались лишь двусмысленными, двуликими модификациями прямой речи в ее живописной трактовке и потому совершенно не касались одной из важнейших *«линейных»* ее модификаций — *риторической прямой речи*.

Социологическое значение этой «убеждающей» модификации и различных ее варьаций очень велико. Но останавливаться на них мы не можем. Мы остановимся лишь на некоторых, сопутствующих риторике явлениях.

#### РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОСКЛИЦАНИЯ

Существует общеизвестное явление: риторически «*вопрос и риторическое восклицание*». Для нашей точки зрения интересны некоторые относящиеся сюда случаи по своей локализации в контексте. Они помещаются как бы на самой границе авторской и чужой речи (обычно внутренней), а часто прямо входят в ту или другую речь, т.е. их можно истолковать и как вопрос или восклицание автора, но в то же время — и как вопрос или восклицание самого героя, обращенное им к себе самому.

Вот пример вопроса:

«Но кто в сиянии луны, среди глубокой тишины, идет, украдкой ступая? Очнулся русский; Перед ним, с приветом нежным и немым стоит черкешенка младая. На деву молча смотрит он и мыслит: это лживый сон, усталых чувств игра пустая»... (Пушкин, «Кавказский пленник».)

Заключительные (внутренние) слова героя как бы отвечают на риторический вопрос автора, и этот последний может быть истолкован как внутренне-речевой вопрос самого героя.

Пример восклицания:

«Все, все сказал ужасный звук; затмилась перед ним природа. Прости, священная свобода! Он раб!» (ibid.).

В прозе очень распространен случай, когда вопрос, вроде: «что было делать?» вводит размышления героя или рассказ о его действиях, причем этот вопрос является одинаково и вопросом автора и вопросом героя, попавшего в затруднительное положение.

Однако, в этих и подобных им вопросах и восклицаниях\* несомненно, преобладает авторская активность, поэтому они никогда не берутся в кавычках. Здесь выступает сам автор, но выступает от лица героя, как бы ведет за него слово.

Вот интересный пример этого рода:

«Склонясь на копыя, казаки глядят на темный бег реки, и мимо их, во мгле чернея, плывет оружие злодея... О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежние битвы.... Простите, вольные станицы, и дом отцов, и тихий Дон, война и красные девицы! К брегам причалил тайный враг, стрела выходит из колчана — взвилась — и падает казак с окровавленного кургана» (ibid.).

Здесь автор представляет герою, говорит за него то, что он мог бы или должен был бы сказать, что приличествует данному положению. Пушкин за казака прощается с его родиной (чего сам казак, естественно, сделать не может).

#### ЗАМЕЩЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эта говорение за другого уже очень близко к несобственной прямой речи. Мы назовем этот случай *замещенной прямой речью*. Конечно, такое замещение предполагает *одинаковую направленность интонаций* как авторской, так и замещаемой (возможной, должной) речи героя, поэтому никакой интерференции здесь не происходит.

Когда между автором и героем в пределах риторически построенного контекста существует полная солидарность в оценках и в интонациях, то риторика автора и риторика героя иногда начинают покрывать друг друга, голоса их сливаются, и образуются длинные периоды, которые одновременно принадлежат и авторскому рассказу и внутренней (иногда, впрочем, и внешней) речи героя. Получается явление, уже почти не отличающееся от несобственной прямой речи; не хватает лишь интерференции. На почве байроновской риторики молодого Пушкина и сложилась (повидимому, впервые) несобственная прямая речь. В «Кавказском пленнике» автор совершенно солидарен со своим героем в оценках и интонациях. Рассказ построен в тонах героя, речи героя — в тонах автора. И вот мы находим здесь следующий случай:

«Там холмов тянутся грядой однообразные вершины; меж них уединенный путь в дали теряется урюмой... И пленника молодого грудь *тяжелой волновалась думой*... В Россию дальний путь ведет, в страну, где пламенную младость он гордо начал без забот; где первую познал он радость, где много милого любил, где обнял грозное страданье, где бурной жизнью погубил надежду, радость и желанье... Людей и свет изведаль он, и знал неверной жизни цену. В сердцах людей нашел измену, в мечтах любви безумный сон... Свобода!.. Он *одной тебя* еще искал в подлунном мире... Свершилось... Целью упования не зрит он в мире ничего. И вы, последние мечтанья, и *вы* сокрылись от него. Он раб» (ibid.)<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Курсив наш.

Здесь явно передана «тяжелая дума» самого пленника. Это — его речь, но формально произнесенная автором. Если мы переменим всюду личное местоимение «он» на «я» и соответственно изменим глагольные формы, то никаких нелепостей и неувязок стилистических и иных не произойдет. Характерно, что в эту речь введены обращения во втором лице (к свободе и к мечтаньям), что еще более подчеркивает идентификацию автора с героем. Стилистически и по смыслу эта речь героя ничем не отличается от его риторической прямой речи, произнесенной им во второй части поэмы:

«Забудь меня: твоей любви, твоих восторгов я не стою. . . . Без упования, без желаний, я вяну жертвою страстей...

...Зачем не прежде явилась ты моим очам, в те дни, как верил я надежде и упоительным мечтам! Но поздно! умер я для счастья, надежды призрак улетел...» (ibid.).

Все авторы, писавшие о несобственной прямой речи (может быть, за исключением одного только Bally), признали бы в нашем примере безукоризненный образец ее.

Мы, однако, склонны считать данный случай замещенной речью. Правда, нужен один только шаг, чтобы превратить ее в несобственную прямую. И Пушкин сделал этот шаг, когда он отделился от своих героев, противопоставил им более объективный авторский контекст со своими оценками и интонациями. Здесь же, в приведенном нами примере, еще не хватает интерференции авторской и чужой речи, а следовательно, не хватает и порождаемых ею грамматических или стилистических признаков, характеризующих несобственную прямую речь в отличие от окружающего авторского контекста. Ведь в данном случае мы узнаем речь «пленника» лишь по чисто смысловым указаниям. Мы не чувствуем здесь слияния двух *различно* направленных речей, не чувствуем *упругости, сопротивления* чужой речи за авторской передачей.

Чтобы показать, наконец, что такое НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ | действительно несобственная прямая речь, приведем великолепный образец ее из пушкинской «Полтавы». Им мы и закончим эту главу.

«Но предприимчивую злобу он (Кочубей) крепко в сердце затаил. В бессильной горести, ко гробу теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает — всему виновна дочь одна. Но он и дочери прощает: пусть богу даст ответ она, покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон... А между тем орлиным взором в кругу домашнем ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных...».

# НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ, НЕМЕЦКОМ и русском языке

НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. КОНЦЕПЦИЯ TOBLER'A. КОНЦЕПЦИЯ TH. КАЛЕРКУ. КОНЦЕПЦИЯ VALLY. КРИТИКА ГИПОСТАЗИРУЮЩЕГО АБСТРАКТНОГО ОБЪЕКТИВИЗМА VALLY. VALLY И ФОССЛЕРИАНЦЫ. НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. КОНЦЕПЦИЯ EUGEN'A LERCH'A. КОНЦЕПЦИЯ LORCK'A. УЧЕНИЕ LORCK'A О РОЛИ ФАНТАЗИИ В ЯЗЫКЕ. КОНЦЕПЦИЯ GERTRAUD LERCH. «ЧУЖАЯ РЕЧЬ» В СТАРОФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. «ЧУЖАЯ РЕЧЬ» В СРЕДНЕФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ. НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ У LAFONTAIN'A И LA-BRUYER'A. НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ У ФЛОБЕРА. ПОЯВЛЕНИЕ НЕСОБСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ РЕЧИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. КРИТИКА ГИПОСТАЗИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТИВИЗМА ФОССЛЕРИАНЦЕВ.

Для явления несобственной прямой речи во французском и немецком языках различными авторами были предложены различные терминологические обозначения. Собственно каждый из писавших по данному вопросу предложил свой термин. Мы пользуемся все время термином Gertraud Lerch «uneigentlich direkte Rede» как наиболее нейтральным из всех предложенных, как инволювирующим *minimum* теории. В применении к русскому и немецкому языкам этот термин безукоризнен. Только по отношению к французскому он еще может вызвать некоторые сомнения.

**НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ**

Вот несколько примеров несобственной прямой речи во французском языке:

1) II protesta: «*son pure la hanssait!*».

В «прямой речи» было бы:

II protesta et s'écria: «*Mon pure te hant!*»

В косвенной:

II protesta et s'écria *que son pure la hanssait.*

В несобственной косвенной:

II protesta: «*son pure, s'écria-t-il, la hanssait!*»

(Этот пример из Бальзака заимствован у G.Lerch).

2) *Tout le jour, il avait l'oeil au guet, et la nuit, si quelquel chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent* (Lafontaine).

3) *En vain il (le colonel) parla de la sauvagerie du pays et de la difficulté pour une femme d'y voyager: elle (miss Lydia) ne craignait rien; elle aimait par-dessus tout a voyager a cheval; elle se faisait une fête de coucher au bivac; elle menaçait d'aller en Asie-Mineure.* Bref, elle avait réponse a tout, car *jamais Anglaise n'avait été en Corse; donc elle devait y aller* (P.Mérimées, «Colomba»).

4) *Resté seul dans l'embrasure de la fenêtre, le cardinal s'y tint immobile, un instant encore... Et ses bras frémissant se tendirent, en un geste*

d'imploration: O Dieu/ *puisque ce médecin s en allait ainsi, heureux de sauver l'embarras de son impuissance, ô Dieu! que ne faisiez-vous un miracle pour montrer l'éclat de votre pouvoir sans bornes! Un miracle, un miracle!* Il le demandait du fond de son âme de croyant (Zola, «Rome»).

(Оба последние примера приводятся и дискутируются Kalepky, Bally и Lorck'oM).

————— | Явление несобственной прямой речи  
 КОНЦЕПЦИЯ TOBLER'A \ как особой формы передачи чужого вы—

сказывания рядом с прямой и косвенной речью было впервые указано ToBler'ом в 1887 г. (в «Zeitschr. f. roman. Philol.», XI, S. 437).

Он определил это явление как «своеобразное смешение прямой и косвенной речи» («Eigentümliche Mischung direkter und indirekter Rede»). Из прямой речи эта смешанная форма заимствует, по ToBler'y, *тон и порядок слов*, а из косвенной — *времена и лица*, глаголов.

Как чисто описательное, это определение может быть принято. Действительно, с точки зрения поверхностного сравнительного описания признаков, соответствующие различия и сходства данной формы с прямою и косвенною речью ToBler'ом указаны правильно.

Но слово «смешение» в данном определении совершенно неприемлемо, так как включает генетическое объяснение — «образовалось из смешения», что едва ли может быть доказано. Да и чисто описательно оно неверно, ибо перед нами не простое механическое смешение или арифметическое сложение двух форм, но совершенно *новая*, положительная тенденция активного восприятия чужого высказывания, *особое, направление* динамики взаимоотношения авторской и чужой речи. Но этой динамике ToBler не слышит, констатируя лишь абстрактные признаки шаблонов.

Таково определение ToBler'a. Но как он объясняет возникновение нашей формы?

— Говорящий как сообщающий о прошедших событиях приводит высказывание другого в самостоятельной форме, так, как оно звучало в прошлом. При этом говорящий изменяет Präsens действительного высказывания на Imperfectum для того, чтобы показать, что высказывание одновременно с передаваемыми прошлыми событиями. Затем он производит другие изменения (личных форм глагола, местоимений) для того, чтобы не подумали, что высказывание принадлежит самому рассказчику.

Это объяснение ToBler'a построено на неверной, но очень распространенной в старой лингвистике схеме: как рассуждал и мотивировал бы говорящий, если бы он сознательно и за свой страх и риск вводил данную новую форму.

Но даже и допустив приемлемость такой схемы объяснения, все же мотивы ToBler'овского «говорящего» представляются не совсем убедительными и ясными: если он хочет сохранить самостоятельность высказывания, как оно действительно звучало в прошлом, то не лучше ли было бы ему передать чужое высказывание в форме прямой речи, — и его

отнесенность к прошлому, и его принадлежность герою, а не рассказчику были бы вне всякого сомнения. Или, если уже ставить Imperfectum и третье лицо, то не проще ли употребить просто форму косвенной речи? Ведь *основное в нашей форме — достигаемое ею совершенно новое взаимоотношение между авторской и чужой речью* — как раз и не находит своего выражения в Tobler'овских мотивах. Перед ним просто две старых формы, из которых он хочет склеить новую.

По нашему мнению, из мотивов говорящего по приведенной схеме можно, в лучшем случае, объяснить лишь употребление в том или ином конкретном случае уже *готовой* формы, но ни в каком случае так нельзя объяснить образование *новой* формы в языке. Индивидуальные мотивы и намерения говорящего могут осмысленно развернуться лишь в пределах наличных грамматических возможностей, с одной стороны, и тех условий социально-речевого общения, какие господствуют в данной группе, — с другой стороны. Эти возможности и эти условия *даны*, и они очерчивают языковой кругозор говорящего. Разомкнуть этот кругозор — не в его индивидуальных силах.

Какими бы намерениями говорящий ни задавался, какие бы ошибки он ни делал, как бы он ни анализировал, ни смешивал форм, ни комбинировал их, он не создаст ни нового грамматического шаблона в языке, ни новой тенденции социально-речевого общения. Лишь то в субъективных намерениях говорящего будет иметь творческий характер, что лежит на пути слагающихся, становящихся тенденций социально-речевого взаимодействия говорящих, а эти тенденции меняются в зависимости от социально-экономических факторов. Должна была произойти какая-то перемена, какой-то сдвиг внутри социально-речевого общения и взаимориентации высказываний, чтобы сложилось то существенно новое ощущение чужого слова, которое нашло выражение в несобственной прямой речи. Слагаясь, эта форма начинает входить и в тот круг языковых возможностей, в пределах которого только и могут определяться, мотивироваться и продуктивно осуществляться индивидуальные речевые намерения говорящих.

#### КОНЦЕПЦИЯ ТН.КАИФ.РКУ

Следующим автором, писавшим о несобственной прямой речи<sup>1</sup> был TL

Kalerky («Zeitschrift f. roman. Philol.», XIII, 1899, S. 491-513). Он признал несобственную прямую речь совершенно самостоятельной третьей формой передачи чужого высказывания и определил ее как *скрытую* или *завуалированную* речь (verschleierte Rede). В необходимости отдавать, кто говорит, заключается стилистический смысл этой формы. В самом деле: с абстрактно-грамматической точки зрения — говорит автор, с точки зрения действительного смысла всего контекста — говорит герой.

В анализе Kalerky бесспорно заключается шаг вперед в рассмотрении нашего вопроса. Вместо механического сложения абстрактных признаков двух шаблонов, он пытается нащупать *новое положительное* стилистическое направление нашей формы. Kalerky верно понял и *двуличность*

несобственной прямой речи. Однако, эта двуликость определена им неправильно. Никак нельзя согласиться с Kalepky, что перед нами — замаскированная речь и что в угадывании говорящего и заключается смысл приема. Ведь никто не начинает процесса понимания с абстрактно-грамматических рассуждений, а потому каждому с самого начала ясно, что по *смыслу* говорит герой. Трудности возникают лишь для грамматика. Кроме того, в нашей форме вовсе нет дилеммы «или — или», но *specificum* ее именно в том, что здесь говорит *и* герой, *и* автор сразу, что здесь в пределах одной языковой конструкции сохраняются акценты двух разнонаправленных голосов. Мы видели, что и явление подлинной скрытой чужой речи имеет место в языке. Мы видели, как подспудное действие этой запрятанной в авторском контексте чужой речи вызвало своеобразные грамматические и стилистические явления в этом контексте. Но это — иная модификация «чужой речи». Несобственная же прямая речь — речь *явная*, хотя и двулика как Янус.

Главный методологический недостаток Kalepky в том, что он истолковывает наше языковое явление в пределах *индивидуального сознания*, ищет его психических корней и субъективно-эстетических эффектов. К принципиальной критике этого подхода мы еще вернемся при рассмотрении воззрений фосслерянцев (Lorck, E.Lerch и G.Lerch).

1 В 1912 году по нашему вопросу высказался Вагъу (G R M IV s 5) 49 ff.,

597 ff.). И в 1914 году он снова, отвечая на полемику Kalepky, вернулся к нему в принципиальной статье, озаглавленной «Figures de pensée et formes linguistiques» (G. R. M., IV, 1914, S. 405 ff., 456 ff.).

Сущность воззрения Bally сводится к следующему: он считает несобственную прямую речь новой, поздней разновидностью классической формы косвенной речи. Образовалась она, по его мнению, следующим образом: *il disait, qu'il était malade > il disait: il était malade > il était malade (disait-il)*<sup>21</sup>. Выпадение союза *que* объясняется, по Bally, новейшей тенденцией, свойственной языку, предпочитать паратаксические сочетания предложений гипотаксическим. Далее Bally указывает, что эта разновидность косвенной речи, которую он и называет соответственно *style indirect libre*, не является застывшей формой, а находится в движении, стремясь к прямой речи как к своему пределу. В наиболее выразительных случаях, по Bally, трудно бывает определить, где кончается «*style indirect libre*» и начинается «*style direct*». Таким случаем он считает, между прочим, приведенный нами в примере четвертом отрывок из Zola. Именно в обращении кардинала к богу: «*o Dieu! que ne faisiez vous un miracle*» — одновременно с признаком косвенной речи (Imperfectum) поставлено в обращении второе лицо, как в прямой речи. Формой аналогичную *style indirect libre* в немецком языке Bally считает косвенную речь второго типа (с пропуском союза и с порядком слов в прямой речи).

<sup>21</sup> Средняя переходная форма является, конечно, лингвистической фикцией.

Bally строго различает *лингвистические формы* («*formes linguistiques*») и *фигуры мышления* («*figures de pensée*»). Под последними он понимает те способы выражения, которые, с точки зрения языка, не логичны, в которых нарушается нормальное взаимоотношение между лингвистическим знаком и его обычным значением. Фигуры мышления нельзя признать лингвистическими явлениями в строгом смысле этого слова: ведь нет точных и устойчивых лингвистических признаков, которые бы их выражали. Наоборот, соответственные лингвистические признаки значат в языке именно не то, что вкладывается в них фигурами мышления. К этим фигурам мышления относит Bally и несобственную прямую речь в ее чистых формах. Ведь с точки зрения строго грамматической — это речь автора, а по смыслу — речь героя. Но это «по смыслу» не представлено никаким особым лингвистическим знаком. Перед нами, следовательно, явление внелингвистическое.

**КРИТИКА ГИПОСТАЗИРУЮЩЕГО  
АБСТРАКТНОГО ОБЪЕКТИВИЗМА  
BALLY**

Такова в основных чертах концепция Bally. Этот лингвист является в настоящее время самым крупным представителем лингвистического абстрактного объективизма. Bally гипостазировывает и наделяет жизнью формы языка, полученные путем абстракции от конкретных речевых выступлений (жизненно-практических, литературных, научных и пр.). Эта абстракция лингвистов совершается, как мы уже показали, в целях расшифровывания чужого мертвого языка и в целях практического научения ему. И вот Bally наделяет жизнью и приводит в движение эти языковые абстракции: модификация косвенной речи начинает стремиться к шаблону прямой речи, на пути этого стремления образуется несобственная прямая речь. Выпадению союза «*que*» и вводящего речь глагола приписывается творческая роль в образовании новой формы. На самом деле, в абстрактной системе языка, где даны *formes linguistiques* Bally, нет движения, нет жизни, нет свершения. Жизнь начинается лишь там, где сходится высказывание с высказыванием, т.е. там, где начинается речевое взаимодействие, хотя бы и не непосредственное, «лицом к лицу», а опосредствованное, литературное<sup>22</sup>.

Не абстрактная форма стремится к форме, а меняется взаимоориентация двух высказываний на основе изменившегося активного восприятия языковым сознанием «говорящей личности», ее смысловой идеологической самостоятельности, ее речевой индивидуальности. Выпадение союза «*que*» сближает не две абстрактных формы, а два высказывания во всей их смысловой полноте: как бы прорывается плотина, и авторские интонации свободно устремляются в чужую речь.

Результатом того же гипостазировующего объективизма является и методологический разрыв между лингвистическими формами и фигурами мышления, между «*langue*» и «*parole*». Собственно, лингвистические

<sup>22</sup> О непосредственных и опосредствованных формах речевого взаимодействия см. вышг-указанную статью Л. П. Якубинского.

формы, как их понимает Bally, существуют лишь в грамматиках и словарях (где их существование, конечно, совершенно правомерно), но в живой реальности языка они глубоко погружены в иррациональную, с точки зрения абстрактно-грамматической, стихию «figures de pensée».

Не прав Bally и тогда, когда он указывает в качестве аналогии французской несобственной прямой речи на немецкую косвенную конструкцию второго типа<sup>23</sup>. Эта ошибка его чрезвычайно характерна. С точки зрения абстрактно-грамматической аналогия Bally безукоризненна, но с точки зрения социально-речевой тенденции это сопоставление не выдерживает критики. Ведь одна и та же социально-речевая тенденция (определяемая одними и теми же социально-экономическими условиями) в различных языках, в зависимости от их грамматических структур, может проявиться в различных внешних признаках. В том или ином языке начинает модифицироваться в определенном направлении именно тот шаблон, который оказывается наиболее гибким в данном отношении. Таким во французском языке оказался шаблон косвенной речи, в немецком и русском — прямой речи.

BAUY и Фоссли'илнцы

Теперь мы перейдем к рассмагрению точки зрения Фосслерианцев. Доминанту исследования эти лингвисты переносят из грамматики в стилистику и психологию, из «лингвистических форм» — в «фигуры мышления».

Разногласия их с Bally, как мы уже знаем, глубоко принципиальны. Lorck в своей критике воззрений женева лингвиста, пользуясь гумбольдтовской терминологией, противопоставляет его взглядам на язык как на ёруов свои взгляды на него как на евёруеця. Точке зрения Bally в данном частном вопросе, таким образом, прямо противопоставляются основоположения индивидуалистического субъективизма. На арену в качестве факторов объяснения несобственной прямой речи выступают: аффект в языке, фантазия в языке, вчувствование, языковой вкус и т.п.

НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ,  
КОНЦЕПЦИЯ EUGEN A LERCH'A

Но прежде чем переходить к анализу их воззрений> мы приведем три примера несобственной прямой речи в немецком языке:

1) Der Konsul ging, die Hände auf dem Rücken, umher und bewegte nervös die Schultern.

*Er hatte keine Zeit. Er war bei Cott überhäuft. Sie sollte sich gedulden und sich gefälligst noch fünfzig mal besinnen!* (Th.Mann «Buddenbrooks»).

2) *Herrn Gösch ging es schlecht; mit einer großen und schönen Armbewegung wies er die Annahme zurück, er könne zu den Glücklichen gehören. DÜS beschwerliche Creisenalter nahte heran, es war da, wie gesagt, seine Grube war geschaufelt. Er konnte abends kaum noch sein Glas Grog zum Munde führen, ohne die Hälfte zu verschütten, so machte der Teufel*

<sup>23</sup> На эту ошибку Bally указал Kalepky. В своей второй работе Bally частично исправляет ее.

seinen *Arm zittern. Da nutzte kein Fluchen... Der Wille triumphierte nicht mehr* (ibid.).

3) Nun kreuzte Doctor Mantelsack im Stehen die Beine und blätterte in seinem Notizbuch. Hanno Buddenbrook saß vornüber gebeugt und rang unter dem Tisch die Hände. *Das B, der Buchstabe B war an der Reihe! Gleich würde sein Name ertönen, und er würde aufstehen und nicht eine Zeile wissen, und es würde einen Scandal geben, eine laute, schreckliche Katastrophe, so guter Laune der Ordinarius auch sein mochte...* Die Sekunden dehnten sich martevoll. «Buddenbrook» ...jetzt sagte er «Buddenbrook»... «Edgar» sagte Doctor Mantelsack... (ibid.) .

Из этих примеров ясно, что несобственная прямая речь в немецком языке грамматически совершенно аналогична русской.

В том же 1914 году по вопросу о несобственной прямой речи высказался Eugen Lerch (G. R. M., VI, S. 470). Несобственную прямую речь он определяет: «речь как факт» (Rede als Tatsache). Чужая речь передается этой формой так, как если бы ее содержание было фактом, сообщаемым самим автором. Сравнивая между собою прямую, косвенную и несобственную прямую речь с точки зрения той реальности, которая присуща их содержанию, Lerch приходит к выводу, что наиболее реально несобственная прямая речь. Ей он отдает и стилистическое предпочтение перед косвенною речью по живости и конкретности впечатления. Таково определение Lerch'a.

#### КОНЦЕПЦИЯ LORCK'A

Подробное исследование несобственной прямой речи дал E Lorck в 1921 г в не\*

большой книге под заглавием: «Die "Erlebte Rede"». Книга посвящена Фосслеру. Lorck останавливается в ней подробно и на истории нашего вопроса.

Несобственную прямую речь Lorck определяет как «пережитую речь» («Erlebte Rede») в отличие от прямой речи как «сказанной речи» («Gesprochene Rede») и косвенной — как «сообщенной» («Berichtete Rede»).

Lorck поясняет свое определение следующим образом. Допустим, Фауст произносит на сцене свой монолог: «Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei... durchahis studiert mit heißem Bemühn»... То, что герой высказывает в первом лице, слушатель переживает в третьем: «Faust hat nun, ach! Philosophie»... И эта перестановка, совершающаяся в недрах самого воспринимающего переживания, стилистически приближает пережитую речь к рассказу.

Если теперь слушатель захочет передать другому, третьему услышанную и пережитую им речь Фауста, то он приведет ее или дословно в прямой форме: «Habe nun, ach! Philosophie»... или же в косвенной: «Faust sagt, daß er leider» или: «Er hat leider»... Если же он сам для себя пожелает вызвать в своей душе живое впечатление пережитой сцены, то он вспомнит: «Faust hat nun, ach! Philosophie»... или же, так как дело идет о прошлых впечатлениях: «Faust hatte nun, ach!».

УЧЕНИЕ LORCK'A о РОЛИ  
ФАНТАЗИИ в ЯЗЫКЕ

Таким образом, несобственная прямая речь, по Lorck'у, является формой непосредственного изображения переживания

чужой речи, живого впечатления от нее, поэтому она мало пригодна для передачи речи другому, третьему. Ведь при такой передаче утратится характер сообщения и покажется, будто человек говорит с самим собой или галлюцинирует. Отсюда понятно, что в разговорном языке она не употребляется и служит лишь целям художественного изображения. Здесь же ее стилистическое значение огромно.

В самом деле, для художника в процессе творчества образы его фантазий являются самой реальностью; он не только видит их, но и слышит. Он не заставляет их говорить (как в прямой речи), он слышит их говорящими. И это живое впечатление от как бы во сне услышанных голосов может быть непосредственно выражено только в форме несобственной прямой речи. Это — форма самой фантазии. Потому-то она и зазвучала впервые в сказочном мире Лафонтена, потому-то она и является излюбленным приемом таких художников, как Бальзак и особенно Флобер, способных совершенно погрузиться и забыться в созданном их фантазией мире.

И художник, употребляя эту форму, обращается тоже только к фантазии читателя. Он не стремится сообщить с ее помощью каких-либо фактов или содержания мышления, он хочет лишь непосредственно передать свои впечатления, пробудить в душе читателя живые образы и представления. Он обращается не к рассудку, но к воображению. Только с точки зрения рассуждающего и анализирующего рассудка в несобственной прямой речи говорит автор, для живой фантазии говорит герой. Фантазия — мать этой формы.

Основная идея Lorck'a, которую он развивает и в других своих работах<sup>24</sup>, сводится к тому, что *творческая роль в языке принадлежит не рассудку, а именно фантазии*. Только уже созданные фантазией формы, готовые, застывшие и покинутые ее живой душой, поступают в распоряжение рассудка. Сам же он ничего не творит.

Язык, по Lorck'у, не готовое бытие (*ἔργον*), но вечное становление и живое событие (*ἐνέρχεται*), он — не средство и не орудие для достижения посторонних целей, но живой организм, несущий в себе самом свою цель и в себе же осуществляющий ее. И эта творческая самодостаточность языка осуществляется языковой фантазией. Фантазия чувствует себя в языке как в своем родном жизненном элементе. Он для нее не средство, но плоть от плоти и кровь от крови, Она удовлетворяется самой игрою языка ради нее самой. Такой автор, как Bally, подходит к языку с точки зрения рассудка и поэтому не способен понять тех форм, которые еще живы в нем, в которых еще бьется пульс становления, которые еще не превратились в средство для рассудка. Поэтому Bally и не

<sup>24</sup> *Passé défini. Imparfait, passé indéfini*. Eine grammatisch-psychologische Studie von E.Lorck.

понял своеобразия несобственной прямой речи и, не найдя в ней логической однозначности, исключил ее из языка.

С точки зрения фантазии Lorck пытается понять и истолковать форму *Imparfait*-*Denkakten* в несобственной прямой речи. Lorck различает «*Défini-Denkakte*» и «*Imparfait-Denkakte*». Эти акты различаются не по своему мыслительному содержанию, а по самой форме своего свершения. При *Défini* наш взгляд направляется во-вне, в мир помысленных вещей и содержаний, при *Imparfait* — во-внутри — в мир становящейся и слагающейся мысли.

«*Défini-Denkakten*» носят фактически-констатирующий характер. «*Imparfait-Denkakten*» — переживающий, впечатляющий характер. В них сама фантазия воссоздает живое прошлое.

Lorck анализирует следующий пример:

*L'Irlande poussa un grand cri de soulagement, mais la Chambre des lords, six jours plus tard, repoussait le bill: Gladstone tombait* (Revue de d. Mondes, 1900, Mai, стр. 159).

Если, говорит Lorck, заменить оба *Imparfait* с помощью *Défini*, то мы весьма отчетливо ощутим разницу — Gladston *tombait* — окрашено в чувственный тон, между тем, как Gladston *tomba* — звучит как сухое деловое осведомление. В первом случае мысль как бы медлит над своим предметом и над собой. Но то, что здесь наполняет сознание, — это не представление о падении Гладстона, но чувство важности совершившегося события. Иначе обстоит дело с «*la Chambre des lords repoussait le bill*». Здесь происходит как бы тревожное предвосхищение последствий события: *Imparfait* в *repuossait* выражает напряженное ожидание. Достаточно произнести всю эту фразу вслух, чтобы уловить эти особенности в психической установке говорящего. Последний слог *repuossait* произносится высоким тоном, выражающим напряжение и ожидание. Свое решение и как бы успокоение это напряжение находит в Gladston *tombait*. В обоих случаях *Imparfait* окрашено чувством и проникнуто фантазией; оно не столько констатирует, сколько замедленно переживает и воссоздает обозначаемое действие. В этом и значение *Imparfait* для несобственной прямой речи. В создаваемой этой формой атмосфере фантазии *Défini* было бы невозможным.

Такова концепция Lorck'a; он сам называет свой анализ исследованием в области языковой души (*Sprachseele*). Эта область («*das Gebiet der Sprachseelenforschung*»), по его словам, была впервые открыта K.Vossler'oM. По стопам Vossler'a и следует Lorck в своей работе.

1 | Lorck рассматривает вопрос в статиче-  
 КОНЦЕПЦИЯ GERTRAUD LERCH | ском> психологическом р33Р<sub>ε36</sub>. В работе,  
 вышедшей в 1922 году, Gertraud Lerch на фосслирианской же почве пы-  
 тается создать для нашей формы широкую историческую перспективу. В  
 ее работе имеется ряд в высшей степени ценных наблюдений, поэтому  
 остановимся на ней несколько подробнее.

Ту роль, которую в концепции Lorck'a играла фантазия, в концепции Lerch играет вчувствование («Einfühlung»). Именно оно находит свое адекватное выражение в несобственной прямой речи. Формам прямой и косвенной речи предпосылается вводящий глагол (сказал, подумал и пр.). Этим ответственность за сказанное перелagается автором на героя. Благодаря тому, что в несобственной прямой речи этот глагол выпускается, автор представляет высказывания героя так, как если бы он сам их принимал всерьез, как если бы дело шло о фактах, а не о сказанном лишь и подуманном. Это возможно, говорит Lerch, только на основе вчувствования поэта в создание его собственной фантазии, на основе идентификации, отождествления себя с ними.

Как исторически слагалась эта форма? Каковы необходимые исторические предпосылки ее развития?

<чужья рфаг > r  
 сгл.ч><р,лнцу.ком ЯЗЫКЕ

В старофранцузском языке психологические и грамматические конструкции еще далеко не столь строго различались > как

теперь. Паратаксические и гипотаксические сочетания еще многообразно перемешивались. Пунктуация находилась еще в зачатке. Поэтому не было резких границ между прямою и косвенною речью. Старофранцузский рассказчик еще не умеет отделить образов своей фантазии от своего собственного «я». Он внутренне участвует в их поступках и словах, выступает как их ходатай и защитник. Он еще не научился передавать слова другого в их дословном внешнем виде, воздерживаясь от собственного участия и вмешательства. Его старофранцузский темперамент еще далек от спокойного, созерцательного наблюдения и объективного суждения. Однако это растворение рассказчика в своих героях в старофранцузском языке является не только результатом его свободного выбора, но и необходимости: отсутствовали строгие логические и синтаксические формы для отчетливого взаиморазграничения. И вот на почве этого грамматического недостатка, а не как свободный стилистический прием, и появляется впервые в старофранцузском языке несобственная прямая речь. Здесь она — результат простого грамматического неумения отделить свою точку зрения, свою позицию от позиции своих героев.

Вот любопытный отрывок из Eulaliasequenz (вторая половина IX века).

Ellent adunet lo suon element:  
 melz sostendriet les empedementz  
 quelle perdesse sa virginitet.  
 Poros furet morte a grand honestet.

(«Она собирает свою энергию: лучше да претерпит она мучения, чем потеряет свою девственность. Поэтому и умерла она в высокой чести»).

Здесь, говорит Lerch, твердое непоколебимое решение святой сливается (Klingt zusammen) с горячим выступлением за нее автора.

**<ЧУЖАЯ РЕЧЬ> В  
СРЕАНЕФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ**

В позднее средневековье в среднефранцузском языке это погружение себя в чужие души уже не имеет места. У историков этого времени очень редко встречается *praesens historicum*, а точка зрения рассказчика резко обособляется от точек зрения изображенных лиц. Чувство уступает место рассудку. Передача чужой речи становится безличной и бледной, и в ней более слышен рассказчик, нежели говорящий.

**В: что \*у ВОЗРОЖДЕНИЯ** | После этого обезличивающего периода наступает резкий и «Дивидуализм» эпохи

Возрождения. Передача чужой речи снова стремится стать более интуитивной. Рассказчик снова старается приблизиться к своему герою, стать к нему в более интимное отношение. Для стиля характерна неустойчивая и свободная, психологически окрашенная, капризная последовательность времен и наклонений.

В XVII веке начинают складываться, в противовес языковому иррационализму эпохи Возрождения, твердые правила косвенной речи по временам и наклонениям (особенно благодаря Oudin'у — 1632 г.). Устанавливается гармоническое равновесие между объективной и субъективной стороной мышления, между предметным анализом и выражением личных настроений. Все это не без давления со стороны Академии.

**НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ у  
LAFONTAINE и LA-BRUÏER'A**

Сознательно, как свободный стилистический прием, несобственная прямая речь могла появиться лишь после того, как

благодаря установлению *consecutio temporum* создался фон, на котором она могла бы отчетливо ощущаться. Впервые она появляется у Лафонтена и в этой форме сохраняется характерное для эпохи неоклассицизма равновесие между субъективным и объективным.

Опущение глагола речи указывает на идентификацию рассказчика с героем, а употребление *imperfectum'a* (в противоположность *praesens'y* прямой речи) и выбор местоимения, соответствующего косвенной речи — указывает на то, что рассказчик сохраняет свое самостоятельную позицию, что он не растворится без остатка в переживаниях своего героя.

Баснописцу Лафонтену очень подходил этот прием несобственной прямой речи, столь счастливо преодолевающей дуализм абстрактного анализа и непосредственного впечатления, приводя их к гармоничному созвучию. Косвенная речь слишком аналитична и мертвенна. Прямая же речь, хотя она и воссоздает драматически чужое высказывание, не способна одновременно же создать и сцену для него, душевное эмоциональное *milieu* для его восприятия.

Если для Лафонтена этот прием служил симпатическому вчувствованию, то La Bruyère извлекает из него острые сатирические эффекты. Он изображает свои фигуры не в сказочной стране и не с мягким юмором, — в несобственную прямую речь он облакает свое внутреннее противоборство им, свое преодоление их. Он отталкивается от тех существ, которые изображает. Все образы La-Bruyère'a выступают

иронически преломленными сквозь medium его обманчивой объективности.

**НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ  
РЕЧЬ у ФЛОБЕРА**

Еще более сложный характер обнаруживает этот прием у Флобера. Флобер неотвратно устремляет свой взгляд именно на то, что ему отвратительно и ненавистно, но и здесь он способен вчувствовать себя, отождествить себя с этим ненавистным и отвратительным. Несобственная прямая речь становится у него столь же двойственной и столь же беспокойной, как и его собственная установка по отношению к себе самому и по отношению к своим созданиям: его внутренняя позиция колеблется между любованием и отвращением. Несобственная прямая речь, позволяющая одновременно и отождествиться со своими созданиями, и сохранять свою самостоятельную позицию, свою дистанцию по отношению к ним, — в высшей степени благоприятна для воплощения этой любви-ненависти к своим героям.

**ПОЯВЛЕНИЕ  
НЕСОБСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ РЕЧИ  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ**

Таковы интересные соображения Gertraud Lerch. К ее историческому очерку развития несобственной прямой речи во французском языке прибавим заимствованные у Eugen'a Lerch'a сведения о времени появления этого приема в немецком языке. Здесь несобственная прямая речь появилась чрезвычайно поздно: как сознательный и разработанный прием — впервые у Thomas'a Mann'a в его «Buddenbrooks» (1901 г.), по-видимому, под непосредственным влиянием Золя. Эта «эпопея рода» рассказана автором в эмоциональных тонах как бы одного из простых сочленов рода Будденброков, который вспоминает и, вспоминая, живо воспереживает всю историю этого рода. Прибавим от себя, что в своем последнем романе «Zauberberg» (1924 г.) Th. Mann дает этому приему еще более тонкое и глубокое применение.

**КРИТИКА ГИПОСТАЗИРУЮЩЕГО  
СУБЪЕКТИВИЗМА ФОССЛЕРИАНЦЕВ**

Насколько нам известно, по разбираемому вопросу ничего существенного нового более не имеется. — Перейдем к критическому анализу воззрений Lorck'a и Lerch.

Гипостазирующему объективизму Bally в работах Lorck'a и Lerch противопоставляется последовательный и резко выраженный индивидуалистический субъективизм. В основе языковой души лежит индивидуальная субъективная критика говорящих. Язык во всех своих проявлениях становится выражением индивидуально-психических сил и индивидуально-смысловых интенций. Становление языка оказывается становлением мысли и души говорящих индивидов.

Этот индивидуалистический субъективизм фосслерианцев в объяснении нашего конкретного явления так же неприемлем, как и абстрактный объективизм Bally. В самом деле, ведь говорящая личность, ее переживания, ее субъективные намерения, интенции, сознательные стилистические замыслы не даны вне своей материальной объективации в языке. Ведь

вне своего языкового обнаружения, хотя бы во внутренней речи, личность не дана ни себе самой, ни другим; она может осветить и осознать в своей душе лишь то, для чего имеется объективный освещающий материал, материализованный свет сознания в виде сложившихся слов, оценок, акцентов. Внутренняя субъективная личность с ее собственным самосознанием дана не как материальный факт, могущий служить опорой для каузального объяснения, но как идеологема. Внутренняя личность, со всеми ее субъективными интенциями, со всеми ее внутренними глубинами только идеологема; и идеологема смутная и зыбкая, пока она не определит себя в более устойчивых и проработанных продуктах идеологического творчества. Поэтому бессмысленно объяснять какие-либо идеологические явления и формы с помощью субъективно-психических факторов и интенций: ведь это значит объяснять более *ясную* и отчетливую идеологему идеологемой же, но более смутной и сумбурной. Язык освещает внутреннюю личность и ее сознание, создает их, дифференцирует, углубляет, а не наоборот. Личность сама становится в языке, правда, не столько в абстрактных формах его, сколько в идеологических темах языка. Личность, с точки зрения своего внутреннего субъективного содержания, есть тема языка, и эта тема развивается и варьируется в русле более устойчивых языковых конструкций. Следовательно, *не слово является выражением внутренней личности, а внутренняя личность есть выраженное или заглазное во внутрь слово*. Слово же есть выражение социального общения, социального взаимодействия материальных личностей, производителей. И условия этого сплошь материального общения определяют и обуславливают, какое тематическое и конструктивное определение получит внутренняя личность в данную эпоху и в данной среде, как она будет осознавать себя, насколько будет богато и уверенно это самосознание, как она будет мотивировать и оценивать свои поступки. Становление индивидуального сознания будет зависеть от становления языка, конечно, в его грамматической и конкретно-идеологической структуре. Внутренняя личность становится вместе с языком, понятым всесторонне и конкретно, как одна из важнейших и глубочайших тем его. Становление же языка есть момент становления общения, неотделимый от этого общения и его материальной базы. Материальная база определяет дифференциацию общества, его социально-политический строй, иерархически расставляет и размещает взаимодействующих в нем людей; этим определяются место, время, условия, формы, способы речевого общения, а уж тем самым определяются и судьбы индивидуального высказывания в данную эпоху развития языка, степень его непроницаемости, степень дифференцированности ощущения в нем различных сторон, характер его смысловой и речевой индивидуализации. И это, прежде всего, находит свое выражение в устойчивых конструкциях языка, в шаблонах и их модификациях. Здесь говорящая личность дана не как зыбкая тема, а как более устойчивая конструкция (правда, конкретно эта конструкция неразрывно связана с определенным, ей со-

ответствующим тематическим наполнением). Здесь, в формах передачи чужой речи, сам язык реагирует на личность как на носительницу слова.

Что же делают фоссерианцы? Своими объяснениями они дают лишь зыбкую тематизацию более устойчивого структурного отражения говорящей личности, перелагают на язык индивидуальных мотиваций, хотя и самых тонких и искренних, события социального становления, события истории. Они дают идеологию идеологии. Но объективные материальные факторы этих идеологий — и форм языка, и субъективных мотивировок их употребления — остаются вне поля их исследования. Мы не утверждаем, что эта работа по идеологизации идеологии совершенно бесполезна. Наоборот, иногда бывает очень важно тематизовать формальную конструкцию, чтобы легче проникнуть к ее объективным корням, ведь эти-то корни — общие. То идеологическое оживление и обострение, которое идеалисты-фоссерианцы вносят в лингвистику, помогает уяснению некоторых сторон языка, омертвевших и застывших в руках абстрактного объективизма. И мы должны быть им за это благодарны. Они раздражили и разбередили идеологическую душу языка, напоминавшего, подчас, в руках некоторых лингвистов явление мертвой природы. Но к действительному, объективному объяснению языка они не подошли. Они приблизились к жизни истории, но не к объяснению истории; к ее вечно взволнованной, вечно движимой поверхности, но не к глубинным движущим силам. Характерно, что Lotzck в своем письме к Eugen'y Lerch'y» приложенном им к книге, доходит до следующего, несколько неожиданного утверждения. Изобразив омертвление и рассудочную закосность французского языка, он прибавляет: «Для него есть только одна возможность обновления: на место буржуазии должен прийти пролетариат» (Für sie gibt es nur eine Möglichkeit der Verjüngung: anstelle des Bourgeois muß der Proletarier zu Worte kommen).

Как это связать с исключительной творческой ролью фантазии в языке? Неужели пролетарий такой фантаст?

Конечно, Lotzck имеет в виду другое. Он, вероятно, понимает, что пролетариат принесет с собою новые формы социально-речевого общения, речевого взаимодействия говорящих и целый новый мир социальных интонаций и акцентов. Принесет с собою и новую языковую концепцию говорящей личности, самого слова, языковой истины. Вероятно, нечто подобное имел в виду Lotzck, делая свое утверждение. Но в его теории это не нашло никакого выражения. Фантазировать же может буржуа не хуже пролетария. Да и досуга у него больше.

Индивидуалистический субъективизм Lotzck'a в применении к нашему конкретному вопросу сказался в том, что динамика взаимоотношения авторской и чужой речи не отражается в его концепции. Несобственная прямая речь вовсе не выражает пассивного впечатления от чужого высказывания, но выражает активную ориентацию, отнюдь не сводящуюся к перемене первого лица в третье, а вносящую свои акценты в чужое высказывание, которые сталкиваются и интерферируют здесь с акцента-

ми чужого слова. Нельзя согласиться с Lorck'ом и в том, что форма несобственной прямой речи ближе к непосредственному восприятию и переживанию чужой речи. Каждая форма передачи чужой речи по-своему воспринимает чужое слово и активно его прорабатывает. Gertraud Lerch как будто улавливает динамику, но выражает ее на субъективно-психологическом языке. Оба автора, таким образом, явление трех измерений пытаются развернуть в плоскости. В объективном языковом явлении несобственной прямой речи совмещается не вчувствование с сохранением дистанции в пределах индивидуальной души, но акценты героя (вчувствование) с акцентами автора (дистанция) в пределах одной и той же языковой конструкции.

И Lorck, и Lerch, оба одинаково не учитывают одного чрезвычайно важного для понимания нашего явления момента: оценки, заложенной в каждом живом слове и выражаемой акцентуацией и экспрессивной интонацией высказывания. Смысл речи не дан вне своей живой и конкретной акцентуации и интонации. В несобственной прямой речи мы узнаем чужое слово не столько по смыслу, отвлеченно взятому, но прежде всего по акцентуации и интонированию героя, по ценностному направлению речи.

Мы воспринимаем, как эти чужие оценки перебивают авторские акценты и интонации. Этим и отличается, как мы знаем, несобственная прямая речь от замещенной речи, где никаких новых акцентов по отношению к окружающему авторскому контексту не появляется.

#### НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вернемся к русским примерам несобственной прямой речи

Вот чрезвычайно характерный в этом отношении образец из «Полтавы» же:

«Мазепа, в горести притворной, к царю возносит глас покорный. " // *знает бог, и видит свет: он бедный гетман двадцать лет и, арю служил душою верной; его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен... О, как слепа, безумна злоба! Ему ль теперь у двери гроба начать учение измен и потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу с негодованьем отказал, стыдись, отверг венец Украины и до.20шэр и» письма тайны к царю > по долгу (Япослал? Не он ли наущеньям хана и цареградского салтана был глух? Усердием горя, с врагами белого и, аря умом и саблей рад был спорить, трудов и жизни не жалел, и ныне злобный недруг смел его седины опозорить! И кто же? Искра, Кочубей! Так долго был его друзьями!" И, с кровожадными слезами, в холодной дерзости своей их казни требует злодей... Чьей казни? Старец непреклонный! Чья дочь в объятиях его? Но хладно сердце своего он заключает ропот сонный...»*

В этом отрывке синтаксис и стиль, с одной стороны, определяется ценностными тонами смирения, слезной жалобы Мазепы, с другой же стороны, это «слезное челобитие» подчинено ценностному направлению авторского контекста, его повествовательным акцентам, в данном случае окрашенным тонами возмущения, которые далее и прорываются в рито-

рическом вопросе: «Чьей казни? Старец непреклонный! Чья дочь в объятиях его?..»

Передать при чтении этого отрывка двойную интонацию каждого слова, то есть самим чтением жалобы Мазепы возмущенно разоблачать ее лицемерие — вполне возможно. Здесь перед нами очень простой случай с риторическими, несколько примитивными и отчетливыми интонациями. В большинстве же случаев, и притом именно там, где несобственная прямая речь становится массовым явлением — в новой художественной прозе, — звуковая передача ценностной интерференции невозможна. Более того, самое развитие несобственной прямой речи связано с переходом больших прозаических жанров на немой регистр. Только это онемение прозы сделало возможным ту многопланность и непередаваемую голосом сложность интонационных структур, которые столь характерны для новой литературы.

Пример такой, не передаваемой адекватно голосом интерференции двух речей из «Идиота» Достоевского:

«А почему же он, князь, не подошел теперь к нему сам и повернулся от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их и встретились. (Да, глаза их встретились! и они посмотрели друг на друга.) Ведь он же сам хотел давеча взять его за руку и пойти туда вместе с ним? Ведь, он сам же хотел завтра идти к нему и сказать, что он был у нее? Ведь отрекся же он сам от своего демона, идя еще туда, на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его душу? Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть в целом сегодняшнее образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона? Нечто такое, что видится само собой, но что трудно анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что однако же производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение? Убеждение в чем? (О, как мучила князя чудовищность, "унизительность" этого убеждения, "этого низкого предчувствия", и как обвинял он себя самого!..)»

**ПЕРЕДАЧА РЕЧЕВОЙ ИНТЕР-  
ФЕРЕНЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ ВСЛУХ**  
(ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ)

Коснемся здесь в немногих словах **очень важной и интересной проблемы** звукового воплощения чужой речи, обнаруженной авторским контекстом.

Трудность ценностного экспрессивного интонирования заключается здесь в постоянных переходах из ценностного кругозора автора в кругозор героя и обратно.

В каких случаях и в каких пределах возможно разыгрывание героя? Под абсолютным разыгрыванием мы понимаем не только перемену экспрессивной интонации — перемену, возможную и в пределах одного голоса, одного сознания, — но и перемену голоса в смысле всей совокупности индивидуализующих его черт, перемену лица (т.е. маски) в